

ПОЛЕМИКА С ДОСТОЕВСКИМ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИЯ ЩЕДРИНА (1864 г.)

Статья и публикация В. Э. Бограда*

Три публикуемые ниже документа — две статьи и рецензия Щедрина — хронологически и тематически связаны друг с другом. Все они возникли во второй половине 1864 г. и примыкают к ранее известным статьям Щедрина из полемики с Достоевским и его журналом «Эпоха». История этой полемики наиболее полно освещена в двух работах: в статье Вас. В. Гиппиуса «Салтыков и журнальная полемика 1864 года», напечатанной в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства» (стр. 99—111), и в книге С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский», вышедшей в 1956 г. (стр. 76—158). Публикуемые материалы существенно дополняют нарисованную в этих работах картину полемики. Они устанавливают несколько новых заключительных попыток Щедрина продолжить свой спор с Достоевским и его «почвенническим» журналом.

Первые два документа, публикуемые нами по корректурным гранкам из бумаг Пыпина в Архиве Академии наук СССР в Ленинграде (ф. 111, ед. хр. 174), — содержат тексты неизвестных до сих пор произведений Щедрина. Это статья «Литературные кусты» и сводная рецензия на сочинение «О добродетелях и недостатках» и еще на четыре издания.

Что касается третьего документа, «Наяда и рыбак. Фантастический балет...», то произведение это не является полной новинкой. Оно предназначалось для «Современника», но дважды, в 1864 и 1866 гг., изымалось оттуда (в редакции 1866 г. сатире была придана форма отзыва на балет Сен-Леона и Минкуса «Фиаметта»). В 1868 г. Щедрину удалось напечатать сатиру в «Отечественных записках», но в сильно измененном и сокращенном виде, в каком она и вошла в сборник «Признаки времени» («Проект современного балета. По поводу „Золотой рыбки“»). Ниже впервые печатается полный текст редакции 1864 г., насыщенный полемическими выпадами против Достоевского, изъятymi при переработках сатиры в 1866 и 1868 гг. «Наяда и рыбак» печатается по корректурным гранкам, сохранившимся в бумагах Некрасова (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101; здесь же находятся гранки переработанной редакции 1866 г. — «Фиаметты»). Частично публикуемый текст был использован в статье И. Т. Трофимова «М. Е. Салтыков-Щедрин о художественном мастерстве писателей» («Ученые записки Орехово-Зуевского государственного педагогического института», 1955, т. II, вып. 1, стр. 75—111) и в книге С. С. Борщевского «Щедрин и Достоевский» (М., 1956, стр. 149—157). Среди упомянутых выше бумаг Пыпина в Архиве Академии наук СССР нами найден другой экземпляр гранок «Наяды и рыбака», также по-видимому 1864 г., но с некоторыми отличиями в тексте от публикуемого экземпляра из бумаг Некрасова.

* * *

Полемическая статья «Литературные кусты», так же как и рецензия «О добродетелях и недостатках...», должна была появиться в октябрьской книжке «Современника». Обе статьи направлены, главным образом, против напечатанного в № 8 «Эпохи» 1864 г. «Объявления» о предстоящей подписке на этот журнал на следующий, 1865 год. «Объявление» было написано Достоевским.

* При участии С. А. Макашина, сообщившего текст «Наяды и рыбака».

Намерение «Современника» посвятить в одном номере разбору анонимного выступления Достоевского не одну, а две статьи порождает, на первый взгляд, сомнение в принадлежности этих статей одному лицу. А так как известную полемику с «Эпохой» в «Современнике» вели в 1864 г. лишь два автора — Антонович и Щедрин, то возникает вопрос: не распределили ли они между собой эти выступления?

Такая гипотеза, основанная лишь на предположении, что один и тот же автор не мог дважды выступить в одном и том же номере по одному и тому же вопросу, не может быть принята в расчет. В той же октябрьской книжке «Современника» были напечатаны «Литературные мелочи» Антоновича, в которых он полемизирует с тем же «Объявлением» о подписке на «Эпоху» в 1865 г. Следовательно, если условно распределить публикуемые рецензии между Антоновичем и Щедриным, то и тогда одного из них все равно следовало бы считать автором двух статей на одну и ту же тему.

Вопрос об авторе анонимных корректурных текстов, за отсутствием других документальных данных, может быть решен лишь с помощью анализа этих текстов.

Как известно, грубый тон статей Антоновича против журнала «Эпоха» подвергался осуждению со стороны многих современников. По свидетельству Е. И. Жуковской, это недовольство разделял и Некрасов («Записки». Л., 1930, стр. 233). Вероятно, Некрасов потребовал от Антоновича изменения тона в полемике. Во всяком случае, Антонович попытался отказаться от резкостей, незамаскированных личных выпадов и грубой брани, которую он допускал в адрес сотрудников «Эпохи». В очередном полемическом выступлении, в статье «Стрижи в западне», появившейся в сентябрьской книжке, Антонович прежде всего попытался реабилитировать себя, а тем самым и редакцию «Современника» в отношении упреков в грубости. Он подробно и обстоятельно доказывал, что его предыдущая статья — «Стрижам. (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», — вызвавшая особенно яростные нарекания в непозволительной резкости и брани, составлена из цитат, заимствованных из выступлений сотрудников «Времени» и «Эпохи» против «Современника» и пародий на их полемические приемы. Статья является, таким образом, — резюмировал Антонович, — «точной копией полемических статей стрижей». В «Литературных мелочах» следующего, октябрьского номера «Современника», привлекая внимание читателя к содержанию вновь вышедшего августовского номера «Эпохи», Антонович по этому поводу удовлетворенно замечал: «Я очень рад, что „Эпоха“ изменила свою полемическую тактику, оставила область фантазий, выдумок и сплетней и выступила на серьезную почву рассуждений и теоретических объяснений. К моему удовольствию, это дает возможность и мне выступить на серьезную почву, и вместо того, чтобы перебраниваться с „Эпохой“ и прибегать к другим ее полемическим орудиям и приемам, теперь оставленным ею, я могу вести с нею настоящую „учено-полемическую“ беседу. Теперь никто не может сказать, что наша летняя и осенняя полемика с „Эпохой“ не привела ни к чему; напротив, она имела важный результат, она послужила благодетельным уроком для „Эпохи“, она привела к тому, что мы, к общему удовольствию, можем в настоящее время рассуждать спокойно и серьезно о предметах важных».

О своем тоне Антонович заявлял: «... в нижеследующих моих статьях воздержусь от всяких ругательств и неприличий, не позволю себе ни одной сколько-нибудь резкой фразы, ни одного слова для кого-нибудь обидного или неприятного <...>; я даже сделаю усилие себе и не буду употреблять моего любимого слова, моего „возлюбленного вокабула“ — стриж. И таким образом в моих статьях вовсе не будет того, за что обличали их мои обличители» («Соврем.», 1864, № 10, стр. 245—246).

И, действительно, статья его не содержит резких выпадов и грубостей против «Эпохи» или кого-либо из ее сотрудников. В сдержанном, порою слегка ироническом тоне, Антонович подвергает критике ряд статей августовского номера «Эпохи», в том числе и «Объявление» о подписке на 1865 г. Заканчивается статья следующим обращением к противникам: «По моему мнению, было бы гораздо лучше для „Эпохи“, если бы я в полемике с нею употреблял ругательства, насмешки над болезнью <Достоевского. — В. Б.>, над доктором и т. д. Тогда „Эпоха“ нашла бы, что отвечать мне, имела бы основание жаловаться на меня публике и возбуждать в ней сострадание к се-

бе. Но что же она может ответить мне теперь, что она может сказать на настоящие мои „научно-полемические статьи“?» (там же, стр. 285).

Совсем в ином духе написана статья «Литературные кусты». Автор ее с исключительной резкостью обвиняет своих противников в сплетничестве, подслушивании, называет их «стрижами», отрицает возможность серьезной полемики с ними, мотивируя это тем, что сотрудники «Эпохи» все равно «не поймут убеждений разума» и «могут возгордиться, что вот и с ними заговорили, наконец, серьезным тоном». Этим и объясняется, что, отдавая должное «Стрижам в западнѣ» Антоновича, автор «Литературных кустов» вместе с тем считает эту статью «ошибкой», так как «толковать с стрижами, разяснять им непохвальность их поведения совершенно излишне». Одновременно отмечается и другой недостаток статьи «Стрижи в западнѣ», недостаток, который присущ многим статьям Антоновича. «...В сентябрьской книжке,— читаем в „Литературных кустах“,— „Современник“ совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам <сотрудникам „Эпохи“> до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность, что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханною непринужденностью выражений и самой пошлой веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это „Современник“ с номерами „Эпохи“ и „Времени“ в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, *хотя и несколько длинно*» (курсив наш.— В. Б.).

Необходимо далее обратить внимание на содержащееся в «Литературных кустах» указание на автора появившейся в майской книжке «Современника» «драматической были» «Стрижи», в которой пародировались «Записки из подполья» Достоевского и высмеивалась вся группа «Эпохи», что резко обострило полемику Достоевского с Щедриным. Как известно, в статье «Стрижам. (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», напечатанной в июльской книжке, Антонович, стремясь ввести в заблуждение своих противников, утверждал, что автором «Стрижей» был он, а не Щедрин. При этом для большей убедительности он подписал свою статью так: «Посторонний сатирик, автор „Стрижей“». Этому сообщению Антоновича противоречит признание автора «Литературных кустов», из которого следует вывод, что «Стрижи» принадлежат Щедрину. Так, говоря о реакции «почвенников» на появление в печати этого памфлета, автор «Литературных кустов» писал: «„Эпоха“ всполошилась: она пустила в ход все зависящие средства и *узнала-таки имя ненавистного незнакомца*. Плодом этого соглядатайства была статья: „Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров“ (читай: Щедрин)» (курсив наш.— В. Б.).

Если бы Антонович был автором «Литературных кустов», то вряд ли в его интересы входило бы опровержение сделанного им же заявления относительно своего «авторства» комедии «Стрижи». Между тем из дошедшего до нас в рукописи отрывка «Но если уж пошла речь об стихах...», датированного декабрем 1864 г. и опубликованного лишь в 1933 г., известно, что Щедрин хотел дезавуировать сообщение Антоновича, сделанное по соображениям тактического порядка, и указать, что «Стрижи» принадлежат ему. «„Современник“ вас обманул, стрижи!— писал он в упомянутом отрывке.— Статью „Стрижи, драматическое представление“ писал действительно я, хроникер „Современника“, а не „Посторонний сатирик“» (VI, 481). Попутно заметим, что оценка памфлета Достоевского «Щедродаров» в этом отрывке дана от первого лица, от имени «Хроникера „Современника“», то есть Щедрина, а в «Литературных кустах», предназначенных к опубликованию анонимно,— со стороны, в третьем лице.

О том, что автором «Литературных кустов» является Щедрин, с полной очевидностью свидетельствуют совпадения многих мест текста этой статьи с другими щедринскими текстами—как печатными, так и теми, которые остались в рукописях и были опубликованы уже в наши дни. Приведем несколько таких параллелей. Автор «Литературных кустов» заявляет: «К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются». По этому же поводу, имея в виду упомянутую «драматическую быль» «Стрижи», Щедрин в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах...» писал, обращаясь к сотрудникам «Эпохи»: «Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?»

(VI, 482). Буквально то же повторил он в статье «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“» (была опубликована в 1908 г.): «Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя — и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная» (VI, 484).

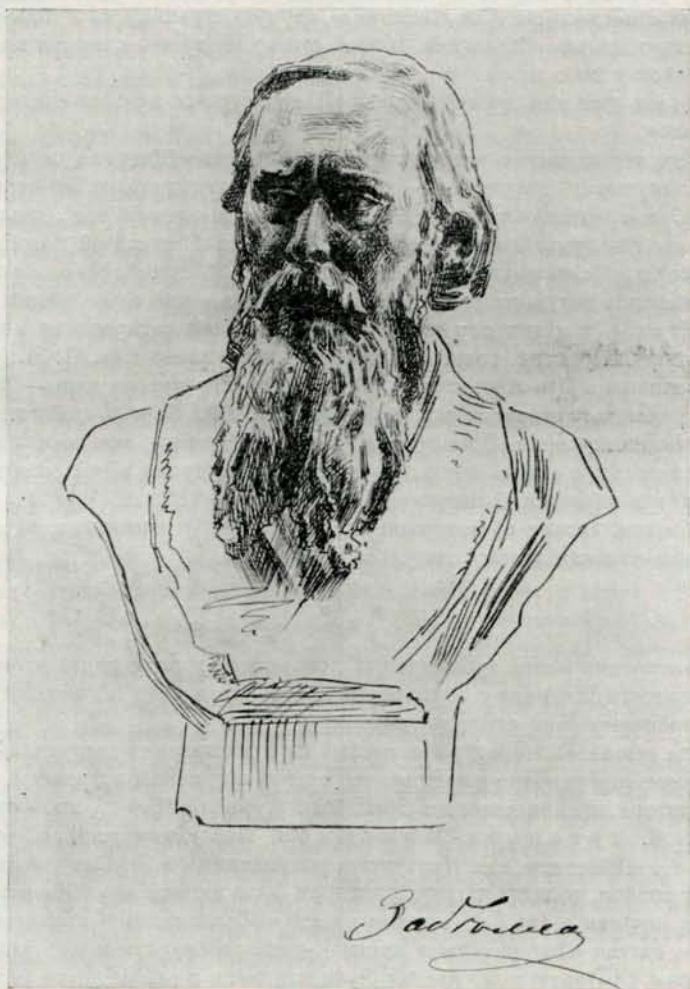
Относительно «Стрижей» автор «Литературных кустов» заявлял: «Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников „Эпохи“ и в частности не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными. Аналогичную характеристику «Стрижей» находим в статье Щедрина «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“»: «И заметьте, — читаем здесь, — я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности; я даже не посягал на изображение каких бы то ни было „литературных отношений“, как выражается ваш семейный летописец; я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное мирозерцание — и, разумеется, успел в этом как нельзя лучше» (VI, 484).

Отмеченное выше отрицательное отношение автора «Литературных кустов» к возможности серьезной полемики с «Эпохой» полностью соответствует взглядам Щедрина, неоднократно высказываемым им в статьях этого времени. Так, например, в отрывке «Но если уж речь пошла об стихах...» он заявлял: «Я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно» (VI, 481).

Укажем еще на один из «щедринизмов» в статье «Литературные кусты»: «Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глухими обыкновениями, как-то: *говорить речи без подлежащего, сказуемого и связи*, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас „Эпохой“» (курсив наш.—В. Б.). В написанной в это же время (см. ниже) и *неопубликованной* при жизни Щедрина статье «Журнальный ад» читаем: «Собственно это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения без подлежащего, сказуемого и связи» (VI, 476). В рассказе 1864 г. «Она еще едва умеет лепетать» после речи Митеньки следует фраза: «Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связи, но „преданные“ поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы» (IX, 126). После этих слов в рукописи следовало: «Пример: стрижки, которые в течение трех лет издавали журнал, не произносили ни одного подлежащего, ни одного сказуемого и ни одной связи» («Лит. наследство», т. 11-12, 1933, стр. 142). В другом месте этого же рассказа Щедрин писал: «Стало быть, тут речи без подлежащего, сказуемого и связи приходится именно как раз в пору» (IX, 126). Во второй главе «Дневника провинциала в Петербурге», появившейся в печати в 1872 г., также читаем: «Говоря по совести, все, что я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связи, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связи» (X, 299).

Характеризуя основы мировоззрения «почвенников», автор «Литературных кустов» писал: «Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни „Дня“; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье „Московских ведомостей“, претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней». Эти мысли полностью соответствуют взглядам Щедрина, утверждавшего в статье «Журнальный ад»: «Он <стриж> безразлично подбрасывает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет» (VI, 476). В другой своей статье этого периода, касаясь печального органа почвенников, Щедрин писал, что «Эпоха» «питается ныне ухвостьями ухвостий „Дня“» (VI, 488).

Автор «Литературных кустов» утверждал относительно сотрудников «Эпохи»: «...вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его». Характеризуя в статье «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“» свои полемические выступления против «почвенников», Щедрин писал: «Я не



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Бюст работы П. П. Забелло, 1878 г. Рисунок автора, 1882 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

нападал в них ни на ваши „идеи“, ни на ваше „направление“ (ни тех, ни другого я и до сего дня усмотреть не могу)» (VI, 484).

Полемика автора «Литературных кустов» с Достоевским по поводу памфлета «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», казалось бы, свидетельствует против принадлежности Щедрину найденной нами статьи: в написанном несколько позднее (декабрь 1864 г.) отрывке «Но если уж пошла речь об стихах ...» Щедрин писал о «Щедродарове», что он «до сих пор не заклеил это произведение орнитологического искусства» (VI, 483.— Курсив наш.— В. Б.). Однако нет никаких сомнений, что это

заявление Щедрина объясняется тем, что «Литературные кусты», в которых содержится ответ на «Щедродарова», не появились в печати. В том же отрывке Щедрин заявлял, обращаясь к «стрижам» и имея в виду последние полемические выступления: «Я досих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того» (VI, 484). Между тем, как известно, Щедрин написал ряд статей против летних и осенних выступлений «Эпохи», которые, однако, не были опубликованы в печати. Среди них была и не дошедшая до нас или все еще остающаяся неразысканной большая статья для июльской книжки «Современника», первую страницу из которой Антонович включил в свою статью «Стрижам». В этой статье Щедрин не мог не коснуться направленного против него памфлета Достоевского.

Все сказанное дает нам право автором «Литературных кустов» считать Щедрина, а не Антоновича.

С такою же очевидностью устанавливается авторство Щедрина по отношению ко второму публикуемому документу — рецензии «О добродетелях и недостатках...». В последнем абзаце рецензии читаем: «Мы оканчиваем. Надеемся, что „Эпоха“ перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных „Зеркалу прошедшего“ и „Объявлению об издании „Эпохи“ в 1865 году“. Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; *в прошлом году мы подали подобный же совет на счет г. Ф. Берга* — и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке „Эпохи“. Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. П. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!» (курсив наш. — В. Б.). Совет «никогда не печатать литературных упражнений г. Ф. Берга», действительно, был преподан редакции журнала «Время» года за полтора до того, как возник текст рецензии «О добродетелях и недостатках...», — в заметке Щедрина «Для следующих номеров „Свистка“» в апрельской книжке «Современника» 1863 г. (V, 257).

Таким образом, вопрос об авторстве Щедрина по отношению к вновь найденным анонимным текстам может считаться решенным.

* * *

Для установления места публикуемых документов в ряду ранее известных материалов из полемики Щедрина с «Эпохой» и Достоевским 1864 г., необходимо определить время возникновения этих документов.

Датировка статьи «Литературные кусты» не представляет затруднений. В литературе о «Современнике» давно известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 журнала 1864 г., но была запрещена цензурой (В. Е. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 84). Цензурные разрешения № 10 «Современника» последовали 9 и 13 ноября, а № 8 «Эпохи», в котором было напечатано «Объявление» о подписке на этот журнал в 1865 г. (ответом на это «Объявление» и является, как уже было указано, статья «Литературные кусты»), вышел в свет после 27 октября. Следовательно, статья «Литературные кусты» была написана в самом конце октября — начале ноября 1864 г.

Уточним попутно время написания другой статьи Щедрина «Журнальный ад». Она также предназначалась для № 10 «Современника» и также была изъята оттуда цензурой. Статья была обнаружена в гранках Вас. В. Гиппиусом и напечатана в 1933 г. в т. 11-12 «Литературного наследства». Время написания «Журнального ада» Вас. В. Гиппиус отнес к августу 1864 г., считая, что статья предназначалась для сентябрьской книжки. Эта же датировка была повторена и в Полном собрании сочинений Щедрина (VI, 564). Между тем, как это видно из «Описи журналам заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» за 1864 г., статья эта поступила в Комитет на рассмотрение 4 ноября и тогда же подверглась запрещению (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, д. 73, л. 46 об.). Следовательно, вероятнее всего, Щедрин работал над статьей «Журнальный ад» не в августе, а во второй половине октября 1864 г.

Несколько с меньшей определенностью устанавливается время работы Щедрина над вторым публикуемым документом — над рецензией «О добродетелях и недостат-

ках...». Тем не менее, так как и в этой рецензии подвергнут критическому разбору ряд статей и материалов из того же № 8 «Эпохи», то нужно думать, что этот документ возник одновременно со статьей «Литературные кусты», то есть в самом конце октября — начале ноября 1864 г.

Третий документ — статья из цикла «Петербургские театры», содержащая отзыв на балет «Наяда и рыбак». Статья предназначалась для последней двойной книжки «Современника» 1864 г. — № 11-12, но была изъята оттуда цензурой (В. Е. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в. Указ. соч., стр. 85). Даты цензурных разрешений № 11-12 — 25 ноября и 30 декабря. Отправляясь от этих дат, можно предполагать, что статья «Наяда и рыбак» писалась в ноябре — декабре 1864 г.

Итак, все три документа датируются осенними и зимними месяцами 1864 г.

Теперь мы можем более или менее точно восстановить хронологию, вероятно, всех попыток Щедрина — попыток неудачных — участвовать в полемике с «Эпохой» и Достоевским во второй половине 1864 г.

После появления в майской книжке «Современника» «драматической были» «Стрижи» хронологически самой ранней попыткой Щедрина продолжить полемику является не дошедшая до нас полемическая статья из цикла «Литературные мелочи», предназначавшаяся для июльского номера «Современника». Можно предполагать, что в статье этой, первой страницей которой воспользовался Антонович для своей статьи «Стрижам», содержался ответ сатирика на памфлет Достоевского «Щедродаров».

Следующая попытка Щедрина возобновить полемику связана с октябрьской книжкой «Современника». Щедрин написал для нее целых три полемические статьи: «Литературные кусты», «Журнальный ад» и рецензию «О добродетелях и недостатках...». В первой из них он ответил на «Щедродарова». Однако ни одна из этих статей не появилась в печати.

Для раздела «Петербургские театры» очередной, ноябрьско-декабрьской, книжки Щедрин пишет статью в форме рецензии на постановку балета «Наяда и рыбак». В заключительную часть статьи — сочиненную сатириком программу «балета» «Мнимые враги, или Ври и не опасайся» — вводится полемический материал против «Эпохи» и Достоевского. Статья запрещается цензурой.

Наконец, к заключительному эпизоду полемики относятся два документа: отрывок из оставшейся неоконченной рукописи «Но если уж пошла речь об стихах...» и заменившая этот замысел статья «Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал „Эпоха“». Первый документ возник не раньше 28 ноября, второй — не раньше 12 декабря («Лит. наследство», т. 11-12, стр. 108). Материалы эти предназначались, скорее всего, для январской книжки 1865 г. Но они могли готовиться и для ноябрьско-декабрьского номера 1864 г., получившего цензурное разрешение лишь 30 декабря.

Так рисуется в свете новых данных хронологическая последовательность неоднократных, но неудачных попыток Щедрина продолжить после «Стрижей» свою полемику с Достоевским и его журналом.

* * *

Как сказано выше, публикуемые здесь статья «Литературные кусты», а также отчасти и рецензия «О добродетелях и недостатках...» являются ответом Щедрина на «Объявление о подписке на журнал „Эпоха“ в 1865 году». Автор «Объявления» — Достоевский — придал деловой информации характер программного документа того реакционного идеологического течения — «почвенничества», — с которым были связаны «Эпоха» и его редактор. Эта особенность материала полемики определила и ее характер в публикуемых статьях: разбор теоретических положений «почвенников».

Отмечая в «Объявлении», что «разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном по-прежнему будет составлять главную цель» издаваемого «почвенниками» журнала, Достоевский вместе с тем утверждал, что «не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими». Главная особенность «настоящего русского» состоит

в знании того, что именно «теперь надо не бранить у нас на Руси». «Не хулить, не осуждать,— поучал он,— а любить уметь — вот что надо теперь настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что и хулить ему надо; и полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя».

Острые этих строк, как и всего полемического материала «Объявления», было направлено против сотрудников «Современника», презрительно именуемых «присяжными обличителями». Через много лет, в «Пестрых письмах» Щедрин вспоминал об этом выступлении Достоевского: «„Мало обличать — любить надо“, прорипцали когда-то „наши почвенники“, тонко инсинуируя, что обличение равносильно отсутствию патриотизма и измене» (XVI, 260).

Вскрывая подлинный смысл этих «прорипцаний» и защищаясь от этих «инсинуаций», Щедрин доказывал, что вопрос о национальной самобытности России и русского народа «почвенники» подменяют вопросом о русской национальной исключительности. В этом Щедрин усматривал один из важнейших пунктов расхождения со своими противниками из «почвеннического» лагеря. С этим пунктом связаны и другие вопросы, по которым ведется спор,— о пути исторического развития России, об общине, о подлинном и мнимом патриотизме, об отношении к крестьянской реформе.

Сущность теоретической базы «почвенников», истоки их мировоззрения Щедрин определяет в статье «Литературные кусты» следующим образом: «С каким же запасом человекоубийственных орудий идут этого особого рода крестоносцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих?» И отвечает: «Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни „Дня“; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье „Московских ведомостей“, претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!».

Беря «на выдержку несколько измышлений», которыми угостили «почвенники» публику под видом объявления о подписке на „Эпоху“ на 1865 год», Щедрин иронически называет этот документ «урной идей» и, останавливаясь на выпадах против Запада, которыми было преисполнено «Объявление», называет и источник заимствования — славянофильский «День», в котором «борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками». Едко высмеивая попытки «почвенников» придать «западничеству» «самый простой, нехитрый смысл», смешать его с «обезьянничеством», Щедрин высказывает полные глубокого смысла и интереса замечания, относящиеся к характеристике идейно-политической борьбы в России сороковых годов. Щедрин дает понять, что стремление тогдашних славянофилов вернуть Россию к допетровским временам было вызвано страхом помещичьего класса перед возможностью решения крестьянского вопроса революционным путем. В этом споре, по замечанию сатирика, «Петровская и допетровская России нужны были <...> не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств». Истинный смысл борьбы был в другом. Не располагая возможностью сказать об этом прямо в подцензурной печати, Щедрин осторожно формулирует так: «„Западники“ утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; „славянофилы“ же говорили: „Нет, участие разума только портит жизнь“ и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла».

Необходимо заметить, что в данном случае под «западниками» Щедрин подразумевает не тех «западников», с упоминанием которых в нашем сознании привычно ассоциируются имена Анненкова, Боткина, Кавелина, Каткова, Чичерина и других, а представителей революционной демократии и близкой ему передовой части русского общества. Так, обращаясь к «почвенникам», Щедрин писал: «Какие „западники“ вас обидели? Успокойтесь! все они или спят в могилах или возродились в виде сельного крина на столбах „Московских ведомостей“». Чтобы вскрыть подлинный смысл этих строк, приведем высказывание Щедрина из хроники «Наша общественная жизнь», в которой, говоря о дворянско-буржуазных либералах шестидесятых годов, он пи-

сал: «Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались, как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны — „*Laure am clavier*“, с другой — тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей — вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь» (VI, 46—47).

Еще в начале полемики с «почвенниками» Щедрин прозорливо предсказал: «...вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени» (VI, 74). Дальнейшие выступления сотрудников «Эпохи» и особенно появление «Записок из подполья» Достоевского еще более укрепили Щедрина в правоте своего первоначального утверждения: «почвенники» все откровеннее скатывались в лагерь реакции. Как итог наблюдений Щедрина по этому вопросу может быть воспринят вывод, к которому пришел сатирик в рецензии «О добродетелях и недостатках...»: «...публицисты „Эпохи“, хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости». Таким образом, как отмечает Щедрин, после 1863 г. силы реакции объединились и перешли в наступление единым фронтом против революционной демократии. Примечательно, что это заключение Щедрина впоследствии подтвердил один из ближайших сотрудников «Времени» и «Эпохи» Н. Н. Страхов, который в своих воспоминаниях о Достоевском сообщал: «Припоминаю, как однажды Федор Михайлович по поводу какой-то статьи в защиту „Дня“ сказал: „Это хорошо, нужно помогать ему сколько можем“» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1883, стр. 275). Что же касается отношений «почвенников» к Каткову, то они могут быть охарактеризованы словами того же Страхова, который утверждал, что со страниц «Московских ведомостей» «в первый раз в то царствование заговорил тот патриотизм, которым так бесконечно сильна наша земля» (там же, стр. 92).

Идеология «почвенников» в значительной степени отразилась и в русской литературе, в которую вторглась проповедь «чувствительности и аккуратности». «Правда, — замечает Щедрин в рецензии „О добродетели и недостатках...“, — что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в „Лизин пруд“ начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время». Далекая от отражения интересов современности, эта литература устремлена в прошлое, проникнута идеализацией помещичьего строя, трактует «о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и до днесь, что науки, конечно, полезны, но — вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение».

На том же «стыдливом уповании» зиждется и безыдейное, отрешенное от жизни искусство. Этой теме посвящено последнее из публикуемых произведений Щедрина — статья о балете «Наяда и рыбак».

Анализируя программное «Объявление» Достоевского, Щедрин пришел к убеждению: «Эпоха» «издается с известными отвлекающими целями». С теми же «отвлекающими целями», — показывает Щедрин, — «стрижинная литература» ведет свою проповедь «кроткого поведения» и «умеренности», а «стрижинное» искусство — «балет» — своими средствами стремится увести «человеческое внимание» от живых и страстных запросов действительности к «сплетням разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии».

Итак, новые материалы обогащают наши сведения о полемических выступлениях Щедрина 1860-х годов против Достоевского и его «почвеннической» группы.

Вместе с тем значение этих материалов гораздо шире. Они являются новыми и весьма ценными источниками для исследования идеологических позиций русской революционной демократии в сложной идейно-политической обстановке, наступившей в период после краха революционной ситуации в стране и начавшейся реакции.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

«Спрятался в кусты» — выражение это обыкновенно употребляется, когда говорят о зайцах. Когда заяц убеждается, что ему грозит беда, что за ним гонятся, что ему нельзя маскировать своего пахучего следа, он бросается в кусты. Не потому он бросается, чтобы сознавал себя виноватым — в чем же заяц может быть виноват! — И не потому, чтоб надеялся, что кусты могут его защитить, даже заяц понимает, что кусты никогда никого защитить не могут, — а просто потому, что его влечет туда инстинкт животного самосохранения, что он теряет голову и по своему малодушию уже при жизни, так сказать, предвкушает муки предсмертной агонии.

До сих пор в русской литературе не существовало обычая прятаться в кусты; предполагалось, что литератор, как человек достаточно развитый в умственном отношении, более другого может понимать как содержание своего поступка, так и последствия, к которым он ведет, а следовательно, более другого обязан нести и нравственную ответственность за свои действия. Конечно, и литератор, как и всякий другой человек, мог впадать в ошибки, мог увлекаться; бывали даже образчики литераторов очень блудливых. Все это в порядке вещей, и за такие поступки иногда крепко доставалось согрешившим. Но никогда не бывало, чтоб уличаемый <не> отпирался от своего действия, чтоб он не оправдывался, не объяснял своего поступка, не сознавался в грехе или, по малой уже мере, не отвечал на справедливые обвинения упорным молчанием. Если ошибка была следствием ложного убеждения и обвиняемый продолжал оставаться при прежнем мнении, то он настаивал на своей правоте посредством целого ряда доказательств и вообще старался обставить себя наиболее выгодным образом; если ошибка была следствием простого неразумия, то согрешивший или сознавался, или молчал. Но никогда никто не говорил: Помилуйте! Я этого не делал! Это не я, это кошка сделала! Никто таким образом не говорил, потому что подобные ответы несовместны с достоинством сколько-нибудь уважающего себя человека, что они могут быть извинены только в ребенке, да и то в ребенке забитом, постоянно находящемся под страхом розги.

Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми обыкновениями, как-то: говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас «Эпохою». Этому всемирному органу стрижей предстояло совершить великий подвиг в русской литературе; ему предстояло доказать, во-первых, что в литературных занятиях могут участвовать и птицы, и, во-вторых, что при помощи этих птиц литература может на время превратиться в урну, переполненную сплетническими помоями. Подвиг этот «Эпоха» совершает неуклонно и с упорством, достойным лучшей участи. Ничто не удерживает ее на этом пути: ни литературная совесть, ни обязательная опрятность литературной формы. Она сама как бы сознается, что на нее следует смотреть совершенно особенным образом, что к ней ни под каким видом нельзя прилагать принцип вменения, подобно тому как это делается относительно всякого другого литературного органа. Она сама как бы говорит: «Сегодня я сделала пакость, а завтра от нее отопрусь — кто с меня взыщет? — всякий плюнет и отойдет прочь!» Расчет, быть может, и верный, но в то же время положительно неслыханный и невиданный в русской литературе до появления «Эпохи». В этом смысле она действительно составила эпоху.

Чувство полнейшего негодования овладевает при чтении августовской книжки «Эпохи» за текущий год. Можно защищать фальшивую мысль,

можно быть парадоксальным, можно даже, во что бы то ни стало, быть преданным известному порядку идей — все это явления, конечно, очень печальные, но которые человеческий разум потому уже допускает, что их можно оспаривать, а следовательно, и победить; но никак непозволительно являться в люди с одной искреннею нелепостью, с одним непреходимым малодушием.

«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1—2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню; дело шло о каких-то несогласиях, будто бы возникших между «Современником» и другим журнальцем, который «Эпоха», со свойственной ей проницательностью, считает солидарным с «Современником»; над этими несогласиями «Эпоха», разумеется, веселенько подсмеивалась. Конечно, вся эта история была выдумана затем единственно, чтобы кормиться ею как можно долее (ибо где никогда не было согласия, там, естественно, не может быть и несогласия); но спрашивается: если б и в самом деле мнимосуществовавшее между двумя литературными органами согласие вдруг превратилось в несогласие, — есть ли тут повод для хихиканья и стоит ли надобность показывать в кармане кукиш? Очевидно, что повода нет и надобности не стоит и что роль третьей стороны в подобном деле заключается единственно в оценке мнений обеих враждующих сторон и в произнесении своего собственного суждения. Однако «Эпоха» предпочла показать кукиш. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи». Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников «Эпохи», в частности не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную

ПОДПИСКА НА 1865 ГОДЪ

ОБЪ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ЭПОХА

ЛИТЕРАТУРНАГО И ПОЛИТИЧЕСКАГО

ИЗДАВАЕМАГО СЕМЕЙСТВОМЪ М. ДОСТОЕВСКАГО

Издание «ЭПОХИ», журнала литературнаго и политическаго, будетъ продолжаться въ будущемъ 1865 году семействомъ покойнаго Михаила Михайловича Достоевскаго. Эпоха будетъ выходить по прежнему, разъ въ мѣсяцъ, въ прежней программѣ, въ объемѣ нашихъ ежемесячныхъ журналовъ, т. е. отъ 30 до 35 листовъ большаго формата въ каждой книгѣ.

Собственники журнала принимаютъ въ изданіи его непосредственное участіе.

Всѣ прежніе всѣгдашніе сотрудники покойнаго редактора, и почти всѣ тѣ писатели, которые помѣщали свои произведенія въ изданіяхъ М. Достоевскаго (Гр. Пятковскій, Аверкиевъ, Страховъ, М. Владиславскій, Акшарумовъ, А. А. Голочаховъ, Долгомостевъ, Островскій, Плещинъ, Полонскій,

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ
ЖУРНАЛА «ЭПОХА» НА 1865 ГОД

«Эпоха», 1864, № 8

характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными.

Я понимаю: полемический прием «Современника» действительно заключал в себе мало лестного. «Эпоха» тщательно скрывала свое родоисхождение; она с мучительным беспокойством, хотя и неуместно, следила за тем, чтоб на листах ее не было заметно следа перьев или пуха, она уже обольщала себя надеждой, что обманула вселенную; она видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева; мало того: она даже сама постепенно привыкла не думать о том, что пернатость есть то непременно качество, которое должно фаталистически преследовать все ее действия. И вдруг... «стрижи!» Все вспомнили; все сказали: ну да, это они, это «стрижи». Чье же злодейское перо выдало секрет, начинавший приходить в забвенье? кто тот ужасный человек, которого не тронула даже искренняя нелепость, который не остановился даже перед столь естественным желанием, как желание скрыть свое стрижиное происхождение?

«Эпоха» всполошилась; она пустила в ход все зависящие средства и узнала-таки им<я> ненавистного незнакомца. Плодом этого соглядатайства была статья: «Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров» (читай: Щедрин).

Гадостнее, презреннее этой статьи по содержанию, тупоумнее, бездарнее по форме трудно что-нибудь представить себе. Вообразите себе древнехолопскую сплетню, рассказанную древнехолопскими устами, приправленную древнехолопскими прибаутками и сопровождаемую секретным древнехолопским злорадством, — и вы будете иметь понятие лишь о сотой части того древнехолопского романа, которым так и обдаёт упомянутая выше статья. Дело идет опять-таки о сплетне, намеченной даже не против журнала и его направления, а исключительно и лично против одного из сотрудников этого журнала, против того сотрудника, который по достоверно полученным сведениям напомнил читающему миру, что «Эпоха» издается стрижами.

Чтоб уязвить чувствительнее, «Эпоха» становится на почву убеждений. Она знает, что человеку свойственно обладать тем, что на человеческом языке называется убеждением; она слышала сверх того, что человек, составивший известного рода убеждения, не легко расстанется с ними, что они ему дороги. Но все это известно ей только по слухам и в сущности кажется до того забавным, до того несходным с привычками пернатых, что она задумала разутешить себя и свою публику легким и игривым разговорцем по части убеждений. Разумеется, Щедродаров (Щедрин) представляется тут в самом уморительном виде: он то отстаивает свои убеждения, то покоряется какой-то таинственной силе, над ним тяготеющей, то вновь возмущается против насилия и т. д. Представьте себе, в самом деле, человека, который имеет свои убеждения — хи-хи! Представьте себе человека, который, обладая известными убеждениями, считает однако ж полезным и своевременным до известной степени и при известных условиях подчинить их убеждениям идущих с ним рука об руку в общем умственном труде — ха-ха! Представьте себе, наконец, этого самого человека, который, несмотря на необходимость уступки, все-таки тяготится ею — хо-хо! Вот какую трагикомическую трилогию устроила «Эпоха» своих читателей. Повторяю: все это она выдумала, насплетничала и наклеветничала, но при этом не рассчитала одного: что впечатление, производимое ее статьею, совсем не достигает тех целей, которые она имела в виду. В самом деле, из статьи ее получается только один совершенно определенный вывод, а именно, что и Щедродаров и прочие редак-

торы «Современника» имеют убеждения. «Что же тут смешного?» — спросит себя удивленный читатель и в сотый раз убедится, что смешного тут нет ничего, кроме бессмысленного хихиканья захмелевших стрижей:

Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове,

— вот единственное заключение, которое может сделать читатель по прочтении статьи.

«Современник» счел долгом ответить на эту статью и притом ответить серьезно. Это была ошибка. Толковать с стрижами, разъяснять им непохвальность их поведения совершенно излишне. Стрижи не поймут убеждений разума, потому что для них «убеждение», «разум» — слова совершенно новые, неслыханные, над которыми можно только смеяться веселым стрижиным смехом. Сверх того, они могут возгордиться тем, что вот и с ними заговорили, наконец, серьезным тоном. К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются. Характеристические черты стрижиного мирозерцания обладают тою неуловимостью, которая ускользает от анализа; но для художника эта неуловимость и, так сказать, мутность чистый клад. Поэтому самым лучшим полемическим приемом в этом случае было бы отвечать стрижам новой комедией.

Как бы то ни было, но дело сделано, и в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам, до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность, что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханной непринужденностью выражений и самою пошлой веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это «Современник» с мерами «Эпохи» и «Времени» в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, хотя и несколько длинно.

Что же делает «семейство М. М. Достоевского» при виде такой напасти? Уличенное, посрамленное, застигнутое врасплох в своих собственных укреплениях, эпохино семейство не унывает. Стрижи обращаются в зайцев и, припомнив, что есть на свете кусты, спешат укрыться под их ненадежной защитой. «Это не мы, это кошка сделала!» — пищат они хором. «Нас трогают не личности, а идеи!» — свищет один. «Мерзит нам личная полемика, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей за то только, что те не согласны с нами в мыслях!» — подсвистывает другой.

И все это свищется и подсвистывается после «Сказания о дураковой плешу», свищется в то время, когда в воздухе еще столбом стоит отвратительный запах, пущенный «Отрывком из романа Щедродаров»! О стрижи! О ветреное и несообразительное племя! Ужели ты и впрямь думаешь, что никто тебя не увидит, если ты прячешь голову под крыло?

Идеи, мысли... так вот вы чему хотите противодействовать, стрижи! Гм... это очень любопытно. С каким же запасом человекоубийственных орудий идут эти особого рода крестоносцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих? Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни «Дня»; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье «Московских ведомостей», претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!

А чтобы доказать вам, что запас ваш именно так ничтожен и скромен, как о том говорится выше, возьмем на выдержку несколько измышлений ваших из той урны идей, которою вы угостили почтеннейшую публику под видом объявления об издании «Эпохи» на 1865 год.

Во-первых, вы все еще вооружаетесь против «западников». Что собственно вы разумеете под этим выражением, этого вы не можете объяснить и сами; вы видите, что оно красуется на столбцах «Дня», и берете его на прокат. Но в «Дне» борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками; «День» в этом случае уподобляется тем часам, которые за несколько лет перед тем остановились, положим, на десяти часах; встретила же надобность пустить их в ход и сразу поставить на двух часах, а они все-таки продолжают бить с десяти часов и много требуется терпения, чтобы восстановить правильный бой их. Борьба между так называемым славянофильством и западничеством имела место несколько лет тому назад и не только не лишена была смысла, но даже имела значение гораздо более широкое, нежели то, которое ей приписывается близорукими ее судьями. Дело шло по наружности о реформах Петра I; одни порицали тлетворное влияние Запада, сделавшееся неутешительным вследствие этих реформ; другие именно потому и хвалили эти реформы, что вслед за ними почувствовалось тлетворное влияние Запада. Но все это, повторяем, было только по наружности; и реформы Петра, и влияние Запада выводились на сцену для красоты слога и как повод для того, чтобы высказать другую мысль. Мысль эту можно в настоящее время формулировать таким образом: следует ли допускать участие разума в жизни или же оставить ее в подчинении у темных сил? «Западники» утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; «славянофилы» же говорили: «Нет, участие разума может только портить жизнь» и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла. Петровская и допетровская России нужны были в этом споре не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств. И действительно, когда явилась возможность согласиться на счет реформ Петра, то споры об этом предмете прекратились очень скоро, а вслед затем и название «западников» утратило свой смысл. Спор вошел в те границы, в которых ему всегда следовало быть, и получил свое естественное содержание. В наше время не только нет «западников», но даже самое слово «западничество» заглохло в литературе. Есть в Российской империи люди благомыслящие, есть люди просто преданные, есть люди вдохновенно-преданные, есть нигилисты, есть ерундисты, есть стрижи. А «западников» нет.

А вы против них-то и вооружаетесь, да еще придаете «западничеству» самый простой, нехитрый смысл: смешиваете его с обезьянничеством. О, стрижи!

О чем вы стужаетесь? Какие «западники» вас обидели? Успокойтесь! все они или спят в могилах или возродились в виде сельного крина на столбцах «Московских ведомостей». Ужели вы и против них секретно коварствуете?! О, ежели это так, то

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек?

О герой! кто тебе равен!

О герой! кто столько славен!

Но все-таки вспомни, герой, против кого ты поднял руку? Против кого ты коварствуешь? — Вспомни и прикуси язык. Итак, пункт пер-

«СТРИЖИ МЕЛЬКАЮТ»

Карикатура на журнал братьев Достоевских «Эпоха»

Гравюра Русица

«Искра», 1865, № 1



Господа! Этого милого забора зрелище изукрашает, стрижки же
мне журнал... не то чтобы забора, что это же...
И я слышу. Та же же, что с забора... не то как забора-мил
мил... это забора, а забора забора и забора забора.

вый решен. Вы направляете ваши стрелы против того, что не существует, вы сражаетесь с мельницами.

Во-вторых, в вашем объявлении встречаем мы следующую фразу: «Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется и скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по-чужому и совсем не жить». В этой фразе заключается вся сущность вашей мудрости, ибо все дальнейшее есть не что иное, как самая грубая и несносная амплификация сейчас выписанного изречения. Но ежели мы всмотримся пристальнее в смысл этой фразы, то найдем, что она именно смысла-то никакого и не имеет, что она есть набор случайно подобранных из лексикона слов, что она в свою очередь есть амплификация чего-то такого, чего вы не сказали, ибо сами не знаете, что хотите сказать. Прежде всего, нужно полагать, что вы упоминаете о земле не в смысле геологическом, а в смысле народа, страны, государства. Не говорите, что мы придираемся к выражениям; ведь вы, стрижи, хитры и с вами надо вести дело начистоту, ибо вы тотчас же скажете: мы совсем не о том говорили, вы не поняли; это кошка говорила, а не мы. Итак, предположим, что вы сказали: «Никакой народ» и т. д. Теперь спросим себя, что такое жизнь вообще, и для объяснения возьмем в пример жизнь отдельного человека. Человек является на свет ребенком и притом при таких органических условиях, которые дают очень мало поводов заключать о будущем его развитии. Затем, начинается для него уже новая жизнь, т. е. воспитание телесное, умственное и нравственное. Он получает понятие о среде его окружающей, о вещах и людях, эту среду составляющих, приучается сравнивать, различать и делать выводы. Он скоро, очень скоро начинает понимать, что стрижи не люди, а люди не стрижи. В этом сложном процессе всестороннего развития человека заключается вся его жизнь, и чем более приобретает он знаний, тем шире и яснее становится его умственный кругозор. Что в этом процессе свое и что чужое? С одной стороны, все чужое, потому что не будь этого «чужого», не было бы и своего; с другой стороны, все свое, потому что не будь этого «своего», то не существовало бы (для дан-

ного человека) и чужого. Не одной счастливо одаренной организации обязан человек своим развитием, но и тому, в какой мере он находится в соприкосновении с людьми и с внешней природой, да еще с какими людьми, с какою природой. Точно то же должно сказать и о жизни общества, народа, государства или страны: на них внешний мир влияет таким же образом, как и на отдельного человека. Никакое общество не может сказать: я буду жить хоть по-глупому, да по-своему, во-первых, потому, что выражение «жить по-своему» есть вообще выражение пустое, не имеющее никакого содержания; во-вторых, потому, что по-глупому жить ни в каком случае не выгодно; а, в-третьих, потому, что о бок с этим обществом существует другое общество, которому глупая жизнь его соседа может мешать, ибо человеческие интересы в конечном результате везде и всегда солидарны. Затем спрашиваем вас: каким образом вы ухитрились разрубить жизнь на две половинки, из которых одну называете своею, а другую чужою и которые, по вашему мнению, постоянно должны находиться друг с другом на ножах? И как следует после этого истолковать вашу фразу: «жить туго, но все-таки жить», «жить по-чужому, и совсем не жить»? Ведь у вас рядом идут два такие понятия, которые взаимно друг друга исключают, ибо разве возможно жить и не жить вместе? Что означает подобная не имеющая смысла фраза? А вот что: она означает стрижиную страсть к риторике, она означает ту ненависть к ясности и определенности, которая составляет непрременную принадлежность всего, что само не понимает, чего желает и о чем плачется. Если б в вас не было этой ненависти, вы, конечно, выразили бы вашу мысль так: «глупый живет по-глупому; к глупому не пристанет чужое умное, к умному не пристанет чужое глупое». И было бы понятно.

Итак пункт второй: существенная цель, к которой, по вашим же словам, стремится ваш журнал и которая должна составлять его содержание, представляет собой полное оскорбление здравого смысла. Посмотрим теперь, что вы скажете о средствах, при помощи которых вы предполагаете достигнуть этой цели.

Вопрос об этих средствах составляет пункт третий. Вот что вы говорите об этом предмете. «Хвалить дурное и оправдывать его *из-за принципа* мы не можем и не хотим. Издавать журнал так, чтобы все отделы его пристрастно составлять из одних подходящих фактов; видеть в данном явлении только то, что нам хочется видеть, а все прочее игнорировать и умышленно устранять; называть это «*направлением*» и думать, что это и правильно, и беспристрастно, и честно — мы тоже не можем». Прежде всего в этих немногих словах поражает детская манера беседовать с читателем о каких-то похвалах и порицаниях. Кому нужны ваши похвалы, кто обращает внимание на ваши порицания? Вы все еще думаете, что назначение журнала не в том заключается, чтоб говорить дело, а в том, чтобы «хвалить» или «порицать»? О, ветреное племя! Вы забыли, что мы уже не в двадцатых годах живем, и что в настоящее время задача похвал и порицаний не только упрощена, но даже совсем выброшена за негодностью за окно. Но довольно об этом; поговорим собственно о том, что вы называете «направлением» и против чего вооружаетесь.

Когда люди соединяются вместе для общего умственного труда, то они прежде всего условливаются между собой о предмете этого труда, о тех разнообразных последствиях, которые могут из него вытекать, и о тех условиях, в которых ведение этого труда поставлено обстоятельствами. Не стовориться на счет этого невозможно, потому что это значило бы заранее обречь общий труд такого рода случайностям, которые подкопали бы его в самом корне. Из этих подготовительных совещаний вырабатываются так называемые *общие начала*, приступить или не приступить

к которым предоставляется на волю каждого, и затем приступившие — остаются в деле, а не приступившие — отказываются от него. От приступивших также ничего не требуется особенного; они не обязываются ни клясться, ни есть землю, ни даже, по древнееврейскому обычаю, класть руку под стегно, в знак преданности; предполагается, что они достаточно связаны добровольно сознанным ими разумностью дела, чтобы не отступить от него без особенно важных побудительных причин. Чем большую сатиру жизненных требований и условий захватывают эти общие начала, чем они дальновиднее, тем более они представляют залогов прочности и устойчивости. Невозможно себе представить таких общих начал, которые бы ничего не предвидели и останавливались перед всяким фактом. Такого рода начала следовало бы назвать не общими, а ёрническими, подобно тому как ёрником называем мы такого человека, который не крадет, когда нельзя украсть, и крадет, когда украсть можно. Таким образом, общие начала определяют не только систему, но и значение в этой системе возможно большего числа частных явлений и фактов. Тем не менее, нельзя не сознаться, что общие начала в дальнейшем своем применении и развитии могут встретиться, во-первых, с фактами совсем непредвиденными, и, во-вторых, с такими фактами, которые хотя и были предусмотрены, но обойдены, так как они не разрушают общей разумности принятых начал, а лишь временно в виде исключения затрудняют их применение. В первом смысле новые факты не могут быть ни значительны, ни многочисленны; нельзя себе представить, чтобы люди взрослые и не лишённые рассудка, договариваясь между собою о столь важном деле, как общие начала, могли пропустить факт сколько-нибудь крупный. Если даже предположить, что эти люди совсем бесчестны, что они намеренно обходят факты — все-таки нужно, чтобы они условились, по крайней мере, на счет того, как лучше обойти факт. Следовательно, в этом случае возникновение явлений не предусмотренных может послужить лишь к поправке и пополнению общих начал, а не к коренному их изменению. Что же касается до явлений второго разряда, то отношение к ним общих начал несколько сложнее, ибо тут дело идет уже не о пополнении общих начал, а о согласовании их с теми кажущимися противоречиями, которые представляются жизнью. Так, например, мы в смысле общего начала можем написать на нашем знамени следующее изречение: прогресс никогда не прерывающийся есть неперенное условие жизни человеческих обществ. На это история, конечно, может возразить рядом фактов очень значительных, может указать на целые эпохи, в продолжении которых человечество, как бы одержимое безумием, положительно действовало наперекор своему собственному благу. Но возражение это будет все-таки недействительное. Мы, в свою очередь, и весьма основательно можем доказать истории, во-первых, что прогресс, несмотря на кажущиеся колебания, есть факт для всех слишком очевидный, чтобы можно было придавать значительный вес частным отклонениям, совершенно утопающим в общем разумном движении жизни; во-вторых, что она совершенно напрасно присваивает себе титул истории человечества, тогда как, в сущности, рассказывает лишь историю незначительного меньшинства; в-третьих, что ежели жизнь этого меньшинства и может вследствие случайных условий колебаться между прогрессом и застоём, то этого невозможно сказать о человечестве в общей его массе, так как на это последнее, по его громадности и разнообразию составляющих его элементов, случайные причины никакого решительного действия иметь не могут, и, в-четвертых, наконец, что то уродливое меньшинство, которое усиливается остановить прогресс, в сущности, нимало его не останавливает, а только готовится своими усилиями собственную гибель. Другой пример. Предположим, что А и В руководятся в своей деятельности одними и теми

же началами, но В вследствие страстности своей природы нередко впадает в преувеличения, возбуждает ужас в неопытных сердцах резкостью своих действий и суждений и вообще поступает так, как бы ему предстояло не привести к себе вселенную, а отогнать ее от себя. Как ни прискорбен этот факт, но он отнюдь не может противоречить нашим общим началам, ни подрывать их. Людям, указывающим нам на него как на доказательство нашей несостоятельности, мы можем сказать: вы очень недобросовестны, милостивые государи, если не умеете отличить истину от тех временных преувеличений, которые нацепляются на нее энтузиазмом и увлечением; сверх того, вы и близоруки, ибо не видите, что энтузиазм В составляет в общей экономии жизни один из необходимейших жизнедеятельных элементов, что в нем заключается источник инициативы, столь драгоценной для успеха всякого дела, и что, тем не менее, тот же самый энтузиазм, сделавши свое дело, непременно придет к отрезвлению, ибо непременно же убедится, что с одним энтузиазмом никакого дела к концу привести нельзя.

Итак, вот значение общих начал, вырабатываемых людьми, собравшимися для общего умственного труда. Совокупность этих начал составляет то, что называется направлением, и так как (об этом объяснено выше) в этом случае направление предвидит и исчерпывает собою возможно большую сумму жизненных явлений, то он имеет полное и бесспорное право требовать от людей, к нему присоединившихся, сообразного с его содержанием образа действий.

Эти последние слова отнюдь, однако ж, не означают, чтоб «направление» говорило: «Подбирай факты только подходящие, такие-то факты игнорируй, а такие-то усматривай», — подобную речь могут держать только стрижи. Но направление может и имеет право сказать: «Старайся осмыслить встречающиеся тебе факты, а не суйся с ними как угорелый; согласуй их с общими началами, дающими жизнь и силу твоей деятельности, а не поступай подобно стрижам, которые, встречая забор, поют: „вот забор!“ до тех пор, пока не встретятся с березой и не запоют: „вот береза!“ — умей определить их значение в общей системе выработанного тобой мирозерцания, а не кричи без стыда: „мы, дескать, и без мирозерцания как-нибудь изживем рассиротскую нашу жизнь!“»

Без «направления» никакая деятельность невозможна, ибо оно дает смысл этой деятельности, обнажает слабые и сильные ее стороны, делает возможным спор и в результате порождает истину. Вот против этого-то и вооружается семейство М. М. Достоевского, издающее «Эпоху». Спрашивается, чем же оно само руководится в своей литературной деятельности?

На это оно отвечает: «не так разумеем мы *направление*», и далее разъясняет: «мы не боимся исследований, света и ходячих авторитетов». Но разве это ответ, разве в этом наборе слов заключается что-нибудь похожее на дело, на мысль? Что такое эти «исследования, свет и ходячие авторитеты», которых можно бояться и не бояться? Следует ли их бояться? Боятся ли их кто-нибудь? О чем «исследования»? Какой «свет»? и что за «ходячие авторитеты»? Увы! отвечать на эти вопросы можно только известным стихом:

Ничего в волнах не видно...

Ибо и тут, по обычаю «Эпохи», мы встречаемся лишь с фразами и стрижиною дрянною риторикой. Помилуйте, сироты! Неужели вы не понимаете, что определять таким образом «направление» все равно, что сказать: «мое направление состоит в том, что я не боюсь ни воды, ни огня, ни стихий небесных, или в том, что я прячусь в дупло всякий раз, как только

заслышу первые раскаты грома». Ведь такое определение свидетельствует лишь в пользу личной вашей храбрости (посмотри, папаса, какой я хляб-лий!), и отнюдь не более. Какое это направление — это высокопарная ерунда и больше ничего.

Итак, пункт четвертый: вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его.

Вот самые рельефные пункты вашей премудрости. Целых восемь страниц прикидываетесь вы сиротами, просите читателей о милосердии и то храбритесь, то колотите себя в грудь в знак раскаяния — и ведь ни одной-то мыслью, ни одним не дохлым словом не проговорились на пространстве целого печатного полулиста!

Неужели же это не обглоданные кочерыжки?

〈РЕЦЕНЗИЯ〉

О добродетелях и недостатках, какие замечаются на всех ступенях развития общественной жизни, или нравственные правила в руководство к исправлению недостатков и к утверждению добрых начал в многосторонней земной жизни для блага общего. Сочинение переводное с иностранного. П. Б. Суходаев. К. У. С портретом автора. Москва, 1864.

ЗЕРКАЛО ПРОШЕДШЕГО. ВЫПИСКИ И ЗАПИСКИ МНОГИХ ГОДОВ. Москва, 1864

Рим. Современный очерк. («Эпоха», 1864 г. № 8).

Примечания к статье «Мовтана» Г. Калаузова. («Эпоха», 1864 г. № 8).

Объявление об издании ежемесячного журнала «Эпоха», литературного и политического, издаваемого семейством М. М. Достоевского. («Эпоха», 1864 г. № 8).

Стрижиная литература решительно процветает. Чувствительность сердца, добродетель, кроткое поведение, почитание усопших, умеренность в употреблении яств и прочих напитков — вот новые принципы, которые внесены в нашу литературу стрижами. Правда, что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в «Лизин пруд» начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время. Прежние проповедники чувствительности и аккуратности были, по крайней мере, кратки и не ложились на душу читателя излишним грузом; нынешние проповедники тех же истин извергают из себя целые монументы и решительно притесняют публику своею настойчивостью.

Прежнее русское общество было само очень чувствительно; воспитанное на почве крепостного права, оно любило отдых за картинками содержания чувствительного и аккуратного. Видя в Ваньках-разбойниках и Машках-подлячках одну нравственную необразованность и сверх того примечая в их обжорливости явный и положительный для себя ущерб, оно охотно останавливалось на повествовании о каком-нибудь Агатоне, который не ел и не пил, а только проливал слезы, или о какой-нибудь Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса, посолила-таки свою невинность впрок. «Вот, подлецы, как жить нужно, а не то, чтоб лопать да брюхо набивать», или: «Вот, девки, как нужно себя соблюдать, а не то, чтоб целые ночи по коридорам шпаться», — говорило оно и сладко-пресладко вздыхало. Ибо видело в этих картинах и повествованиях не токмо утешение, но и подкрепление.

Совсем не таково положение современного общества относительно аккуратно-чувствительной литературы. Заботы по насаждению нравственности в сердцах Ванек с него сняты; ущербы, истекавшие от прожор-

ливости Машек, или устранены, или вошли такую определенной статьей в бюджет, что отвертеться от них нет возможности. Следовательно, надобности в примерах разного рода окаянству решительно не стоит. Пример Агатона, питающегося слезами, важен для нас в том только смысле, что он врачует наши сердца, уязвленные примерами других Агафонов, таскающих из наших кладовых огурцы и капусту для своего насыщения; но как скоро мы сродняемся (или что-нибудь сродняет нас) с мыслью, что упомянутые выше огурцы и капуста не составляют еще особенной манны небесной, то воспоминание об Агатоне-слезоистребителе и Хлое-блустительнице не только не утешает, но даже бесит нас. Нам кажется, что все это пишется нам в пику, что тут заключается тайное злорадство, недобросовестный намек на то, что вот и хорошо бы, да не хочешь ли выкусить! И так бывает нам в то время скверно и огорчительно, что мы были бы готовы горло зубами перервать тому стрижу, который так и зудит около нас с своею проквашенною кротостью и посоленной впрок невинностью.

А стрижиная литература все пристаёт да пристаёт потихоньку. Словно вот ядом поливает. «Да будьте же вы, говорит, кротки, чорт вас дери! вспомните, говорит, об Косте-прожорливом, о некоторой Насте, которая позволяла Колинке свою ручку целовать! Куда вы угодить хотите? вспомните, наконец, о некоторых „стрижах“, которые без ума без всякого вдруг вздумали странствовать,— что постигло их?» Слушая это унылое голошение, видя этих пришельцев с того света, колотящих себя в грудь даже без приглашения полиции, публика сначала недоумевает, но, наконец, положительно озлобляется. «Что я вам сделал? долго ли притеснять меня будете? И как я покажусь в люди с вашею выеденною добродетелью!» — говорит читатель неотвязчивым птицам. А стрижи пристают себе да пристают полегоньку.

Вот лошадки для езды,
Пистолетик для стрельбы,
Барабан, чтобы стучать
И в солдатики играть!—

кричат они хором, и какие бы усилия ни употребляла публика, чтоб унять их,— все будет бесполезно. Во-первых, они от рождения находятся в «забвении чувств», а, во-вторых, в самом воздухе есть нечто им покровительствующее.

Да, это так; действительно, нечто покровительствует им. Известно, что ничто так не утверждает общественного благоустройства на незыблемых основаниях, как невинные занятия. В сем отношении игра «в солдатики», «в лошадки», «в фофаны» и проч. занимает самое видное место. Люди, занимающиеся такими непредосудительными поступками, суть те самые граждане, на коих всегда положиться можно, ибо они никогда не выдадут. Затем, к числу непредосудительных ремесел следует отнести также балет, в особенности же с превращениями, полетами и исчезновениями, так как от одного ведут свое родоисхождение занятия балетно-философические, тоже немало к утверждению общественного благоустройства содействующие. Человек, уязвленный до глубины души игрою в фофаны, до такой степени закаляет себя в этом занятии, что никаким порочным движениям доступен быть не может. Видя конец платка, летающий из кафтана ближнего, он не только не присвоит его себе (т. е. весь платок, а не конец его), но даже не соблазняется; видя людей, беседующих о деле действительном, он не только не принимает участия в их беседе, но даже не соблазняется; видя людей, страдающих не едиными чирьями и золотухой, он не только не расспрашивает о причине страдания их, но даже не соблазняется. Как некоторый адамант светлый про-

ходит он посреди людского торжища, поражая всех своею невинностью и аккуратностью. Правда, что и им, в свою очередь, никто не соблазняется, но всякий при виде его говорит:—оставьте сего невинного, ибо, если вы его тронете, то извергнет из *пропуска в корректуре* всякий остерегается, всякий себя(?)монумент, известный под именем «сапогов в смятку!» проходит мимо. Ибо все мы—члены общества, и в этом качестве должны всемерно заботиться о благоустройстве. А от кого же и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут? Следовательно, поощрять и охранять их суть прямой долг наш и главнейшая обязанность. А ежели мы должны поощрять их, то, стало быть, должны выносить и их приставанья. Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания; вот почему им нет и не может быть перевода, так что ни трескучие морозы, ни летний зной не могут оказать на них решительно никакого влияния.

Итак, несмотря на то, что характер общества русского значительно изменился, несмотря на то, что наше общество стало менее чувствительно, процветание стрижиной литературы совершенно законно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительною назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям. Кто огорчен, угнетен или обижен, тот пусть возьмет в руку стрижа: он споет ему повесть о Феденьке-нестроптивом, который тоже был когда-то строптивым, и тогда все у него шло скверно, но потом предоставил себя на волю провидения,— и все пошло у него хорошо. И стал Феденька



«БАЛАНС В РУКАХ ОПЫТНОГО
ЖУРНАЛИСТА»

Карикатура, направленная против
беспринципных журналистов

«Искра», 1864, № 35

Балансъ въ рукахъ опытнаго журналиста.

торговать отчасти выеденными яйцами, отчасти непредосудительными выражениями — и расторговался так, что ныне завел даже в Мещанской колбасную лавочку. Можно ли, спрашивается, устоять против такого соблазна? Можно ли не оставить все горькие житейские помышления, когда в перспективе виднеется колбасная лавочка? Нет, нельзя; кремень — и тот не устоит, особливо когда ему объяснят, что колбасы, выделяемые в этой лавочке, не взаправду колбасы, а простая тряпочка, набиваемая без разбору всяким сором. Только одно серьезное возражение предвидим мы против такого соблазна: а что, ежели все примутся вдруг торговать выеденными яйцами, — кто тогда станет покупать их?

По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих. Ведь оказывает же, сказывают, Наполеон III некоторое покровительство спиритам, а чем они лучше наших стрижей?

Да простят нас многоуважаемые авторы выписанных выше сочинений, что мы как будто по поводу их заговорили о стрижах. По правде-то сказать, во всех этих сочинениях действительно есть немножко стрижиного... ну, хоть немножко! Но во всяком случае, и смысл, и направление, и даже слог — все у них совершенно общее. Ежели сочинение «О добродетелях и недостатках», а также «Зеркало прошедшего» не помещены в «Эпохе», а являясь изданиями отдельно, то это есть лишь признак прискорбного недоразумения, признак того, что «Эпоха» недостаточно еще разлилась по лицу земли, не знает сама, где ее агенты, где ее счастье, и что агенты ее, с своей стороны, не знают, где их счастье, где та укромная роща, в которой они могли бы по душе потолковать. Ни «Добродетели и недостатки», ни «Зеркало прошедшего» не могли бы, конечно, быть помещены ни в одном русском журнале, а в «Эпохе» прочитались бы с удовольствием и притом довольно многочисленной публикой, которая обращается к этому журналу именно как к средству позабить о всех горестях. Точно так же нельзя бы было поместить ни в одном журнале ни «Рима», ни «Объявления» об издании «Эпохи» в будущем 1865 году, ни других выписанных выше статей, а «Эпоха» поместила их — почему? Потому, что она издается с известными отвлекающими целями, для которых все эти статьи как нельзя больше пригодны. А чтобы доказать самым делом, что факт появления «Добродетелей и недостатков» и проч. отдельно от «Эпохи» есть не что иное, как недоразумение, объяснимся несколько подробнее.

Все сочинения, заглавия которых выписаны нами выше, трактуют о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и до днесь, что науки, конечно, полезны, но — вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение. Затем, слог, которым написаны эти сочинения, может быть назван высоким, по временам впадающим в «забвение чувств».

Вот общие черты; что касается до отличий, то их немного — всего два. Во-первых, автор «Добродетелей и недостатков» приложил к сочинению свой портрет, а прочие сочинители портретов не приложили. Мы находим, что со стороны последних это большое упущение, ибо, ежели вошло в обычай сохранять для современников и потомства черты знамени-

тейших злодеев, то тем справедливее соблюдать это обыкновение относительно благодетелей человечества. Из портрета, приложенного к «Добродетелям и недостаткам», мы видим, что г. Суходаев человек средних лет, что он кавалер трех медалей, что глаза его устремлены к потолку и что под рукой у него две книги (должно полагать: научно-полемиическая статья «Сказание о Дураковой плеш» и игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле). Таким именно мы представляли себе сотрудника «Эпохи». Второе отличие состоит в том, что г. Суходаев посвятил свое сочинение «достойнейшему князю Георгию Иоанновичу, сыну Окрапира царевича», посвятил явно и открыто и даже записал, когда и где сие совершалось, а именно: «20-го июня 1863 года на южном берегу Крыма, на даче генерала Лешневич» (ведь записывал же Иван Иванович Перерепенко на семенах «сия дыня съедена такого-то»), между тем как публицисты «Эпохи», хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости. Это отличие тоже, по нашему мнению, служит в пользу Суходаева. Во-первых, мы вполне признаем, что поступки явные гораздо прочнее и заслуживают большего уважения, нежели поступки тайные, и охотно верим в этом случае г. Суходаеву, который вот что говорит в главе о «Тайных грехах»:

«Как, неужели злодей, впавший в явные преступления, достоин большей казни, чем сии скрытные беззаконники, от которых никто не может остережся, потому что они скрывают свою развратность под личиною добродетели?»

И далее, очертив мастерскою рукой изображение тайного беззаконника, который, между прочим, «сплетничает, а между тем хочет слыть человеком честным, о благе всех пекущимся», автор в негодовании восклицает:

«Узнай себя в этом изображении, скрытный беззаконник, и ужаснись, если в тебе осталось еще столько совести, чтобы различать, что достойно и что недостойно человека! Узнай себя, вероломный сквернитель чужой чести» и т. д. и т. д.

Во-вторых, мы полагаем, что беззакония тайные никогда не сопровождаются ожидаемым успехом и опять-таки охотно верим в этом г. Суходаеву, который так отзывается об этом предмете в своем сочинении:

«Поистине ты (т. е. беззаконник тайный) для других опаснее явного беззаконника; но ты еще более опасен себе самому; таковы последствия твоего притворства. Ибо тебе никто не может подать совета, пока ты скрываешь язвы сердца твоего от взоров других; никто не может помогать до самого падения твоего в пропасть, изрытую твоими пороками. Твоя пагуба лишь скорее дает тебе созреть для ужасной развязки той пьесы, которую ты столь искусно играешь. Тем ужаснее будет твоя гибель».

И далее:

«... ты сам и твое тело обличает тебя перед светом. Тайное беззаконие выкажется в твоих впалых глазах, в твоём расстроенном здоровье. Смотри на болезненных, убитых, рано увядших потомков твоих, ты будешь сокрушаться. Остальное поприще твоей жизни и самая могила порастут терниями».

Картина ужасная, и ежели припомнить, что она начертана собственно для страстей, то надобно удивляться той закоснелости, с которой они внимают словам учителя, продолжая в то же время производить тайные беззакония, как будто бы совсем не об них шла речь.

Итак, отличия все в пользу г. Суходаева; но мы увидим далее, что и родственные черты гораздо больше выигрывают под пером этого философа, нежели под перьями эпохиных публицистов.

Вот, например, что говорит г. Суходаев о вреде наук:

«И просвещение, подобно всем вещам, имеет свойственные себе опасности, когда для приобретения его надобно читать много сочинений различного рода. В те времена, когда не было еще никаких других книг, кроме рукописных, одни только отличные мужи отваживались письменно излагать и распространять свои мысли».

И далее:

«Истина, собственным нашим размышлениям открытая, драгоценнее тысячи слышанных, которые остаются бесплодными в нашей памяти: подобно как небольшой достаток, нажитый собственными нашими трудами и употребленный с пользою, несравненно бо́льшую имеет цену, чем груды золота, даром доставшиеся и в сундуке скряги лежащие».

И вот об этом же самом предмете говорит «Эпоха» (см. Объявление «Об издании в 1865 г. ежемесячного журнала „Эпоха“, литературного и политического, издаваемого семейством М. Достоевского»):

«От науки никогда народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренне чтит науку, так это народ. Но тут опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, путем совершенно самостоятельного жизненного процесса дошел до этого почитания».

Мысли совершенно верные, хотя и вполне стрижиные. Но у г. Суходаева они выражены рельефно и вполне резонно, тогда как в «Эпохе» они принимают несколько вялый и притом только полурезонный характер. Г. Суходаев прямо говорит: человек, конечно, должен иметь табличку умножения, но он обязан выдумать ее сам, а не заимствовать из арифметики Меморского; «Эпоха» говорит: «народ, конечно, сам должен додуматься до таблички умножения, но он имеет право обойтись и без нее». Г. Суходаев не подвергает никакому сомнению ни пользы, ни своевременности таблички умножения, «Эпоха» же явно настаивает на ее своевременности. Разница, очевидно, в пользу г. Суходаева.

Другой пример. Г. Суходаев выражается о «путях провидения» следующим образом:

«Зачем ты, сердце мое, столь часто сокрушаешься о судьбе своей? Зачем с неудовольствием смотришь на счастье многих других, жалуясь, что ты его не имеешь? Зачем ты плачешь о своих неудачах, почитая себя рожденным для всегдашней горести?.. Ты говоришь, мое сердце: я несчастно, ибо никакие предприятия мне не удаются; заботы мои и труды никогда не достигали желанной цели. Сколько уже сплетал я предположений о моей будущности, но они никогда еще вполне не сбывались! Сколько планов строил я в мыслях, как бы улучшить положение мое собственное и моих домашних; но все напрасно!»

«Эпоха» о том же предмете выражает так (зри там же):

«„Эпоха“ с самого начала своего существования подверглась большим и неожиданным неудачам (следует слезный перечень неудач)... Образовавшаяся наконец редакция увидела вдруг перед собой бездну новых трудностей, которые должна была преодолеть».

Опять-таки мысли совершенно верные и опять-таки совершенно стрижиные. Но и здесь преферанс положительно на стороне г. Суходаева. Г. Суходаев прямо говорит о предприятиях сердца и объясняет, что предприятия эти заключались в том, чтоб обеспечить его и домашних. Из объяснений же «Эпохи» можно усмотреть одно: что у нее были «предприятия сердца», что и она видела перед собой «бездну», но с какою целью предпринимались эти «труды сердца» — ничего об этом не говорится. Скрытность явная и положительно говорящая не в пользу «Эпохи».

Третий пример. Суходаев так говорит о современном обществе:

«Преступное искажение естественной потребности оказывается в столь различных видах, производит опустошения столь обширные, явно и тайно свирепствует во всех состояниях, полах и возрастах с такою жестокостью, что верный последователь христов с ужасом отвращает свои взоры от людей, до такой степени унизившихся».

О том же «Эпоха» гласит следующее (там же):

«Мы видим, как исчезает наше современное поколение само собой, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих и лишних людей».

Опять, с одной стороны, определенность; с другой, неясность, хотя существо мысли в обоих случаях совершенно одинаково. Оба единомышленника соглашаются, что современное поколение погибает, но первый указывает и на причину этого явления, которая, по мнению его, состоит в «преступном искажении естественной потребности», второй же говорит, так сказать, с плеча, а потому совершенно бездоказательно. Кому отдать преимущество?

Четвертый пример. Г-н Суходаев говорит: «женщина стремится вступить в брачный союз не с женщиною, но с мужчиною»; «Эпоха» же хотя ничего об этом предмете не высказывается, но это, очевидно, пробел, который, подобно и прочим пробелам, очень мало говорит в ее пользу.

Наконец, г. Суходаев говорит, что его «Сочинение» — переводное с иностранного; «Эпоха» говорит, что ее издание есть издание, издаваемое... Кому отдать преферанс относительно этого пункта «решить не решаемся», ибо опасаемся посредством какофонической какофонии впасть в тавтологическую тавтологию.

Затем, прочие сочинения, заглавия которых выписаны нами в начале статьи, поражают не столько умозрительностью, сколько кротостью и, так сказать, беззащитностью. Вот, например, какие «сапоги в смятку» проповедует г-жа Анопуге в своем «Зеркале прошедшего»:

«Хотя женщина должна покоряться общему мнению; но довольно в душе своей может иногда презирать его, видя, как оно часто бывает неосновательно, ветренно, переменчиво. Довольно иметь чистую совесть, тихое самоудовольствие — и свое собственное мнение, утвержденное на оных, должно быть дороже мнений целого света».

А вот «сапоги в смятку» г. Н. М., напечатавшего под именем «Современного очерка Рима» краткое извлечение из руководств Кайданова и Смаградова:

«Главным предметом их (пап) заботливости сделалось *сохранение и увеличение папских владений*, которым они незаконно придали название *наследия св. Петра*, как будто св. апостол, которого имя они употребляли во зло, мог с высоты своего небесного жилища утвердить то, чему так явно противоречила вся его земная жизнь».

Но еще наивнее примечания к статье «Монтана». Примечания эти до того прелестны, что мы не решаемся даже выписывать их. Пусть читатели обратятся прямо к источнику и там удостоверятся, какие у нас на Руси еще могут издаваться журналы.

Мы оканчиваем. Надеемся, что «Эпоха» перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных «Зеркалу прошедшего» и «Объявлению об издании „Эпохи“ в 1865 году». Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; в прошлом году мы подали подобный же совет на счет г. Ф. Берга — и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке «Эпохи». Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. П. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

НА Я Д А И Р Ы Б А К

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ И ПЯТИ КАРТИНАХ

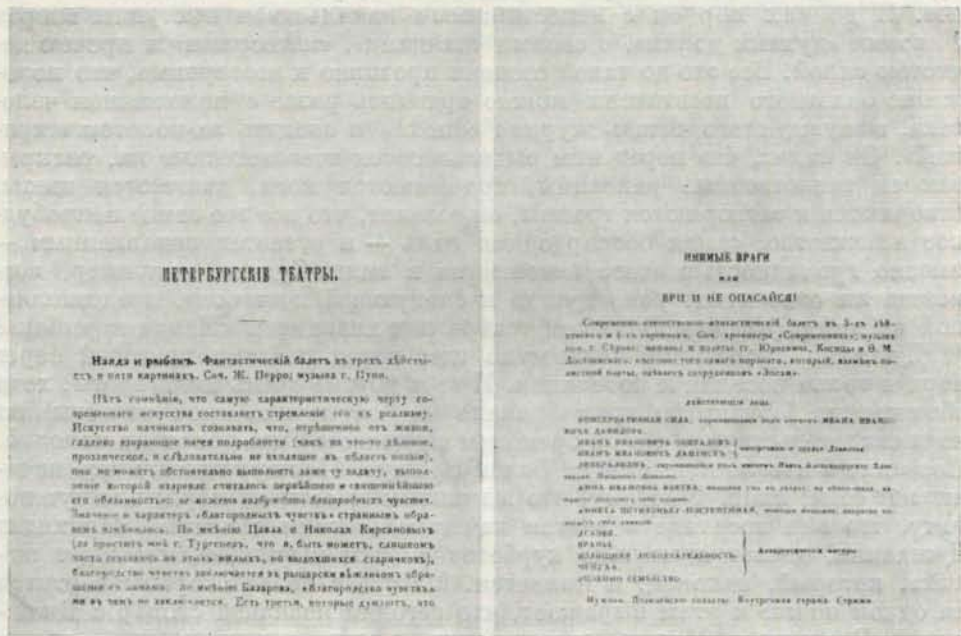
Соч. Ж. Перро; музыка г. Пуни

Нет сомнения, что самую характеристическую черту современного искусства составляет стремление его к реализму. Искусство начинает сознавать, что, отрешенное от жизни, гадливо взирающее на ее подробности (как на что-то деловое, прозаическое и, следовательно, не входящее в область поэзии), оно не может обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполнение которой издревле считалось первейшею и священнейшею его обязанностью: *не может возбуждать благородных чувств*. Значение и характер «благородных чувств» странным образом изменились. По мнению Павла и Николая Кирсановых (да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих милых, но выдохшихся старичков), благородство чувств заключается в рыцарски вежливом обращении с дамами; по мнению Базарова, «благородство чувств» ни в чем не заключается. Есть третьи, которые думают, что «благородство чувств» есть такая рубрика, которую можно оставить с пользою и под которою следует разуместь ряд полезных, добропорядочных и целесообразных действий. Быть может (да и наверное), есть еще четвертые, пятые, десятые и т. д., которые и еще кой-что разумеют под «благородством чувств» и, конечно, находят, что правы они, а не братья Кирсановы и не Базаров. И таким образом выходит, что для того, чтобы высказать себя «благородным», Кирсановы играют на виолончели, говорят об «даже», купаются в душистых ваннах и вообще предъявляют «благородные манеры», очень наивно принимая их за «благородные чувства»; для этой же цели Базаров режет лягушек; для этой же цели третьи, не отрицая игры на виолончели, отдают свое время преимущественно полезным и добропорядочным делам. Но во всяком случае, ни те, ни другие, ни третьи не суть люди, лишенные прав состояния, а потому имеют право пользоваться своими понятиями о «благородстве чувств» по усмотрению и без всякого со стороны начальства помешательства.

Но искусство не частный человек и потому на задачи свои смотреть «по усмотрению» не может, под опасением действительного лишения за это прав состояния. Оно и радо бы, например, век свой идти рядышком с братьями Кирсановыми, но не смеет, ибо знает, что эти чистенькие, но выжившие из ума старички не поддержат его. Пискнет искусство по старой привычке в лице какого-нибудь запоздалого путника-поэта песенку о вежливом отношении к природе, Аглаям и Хлоям, ее населяющим, да так и останется при своем писке: никто не ответит на него, даже Кирсановы застыдятся. А какая причина такого явления? А причина та, что ниву человеческую со всех сторон загромодили мужики, а братья Кирсановы так-таки и затонули в этом мужицком приливе. Мужики говорят искусству: Смотри! стань на эту точку, да на этой линии и вертись! а братья Кирсановы молчат и только исподтишка презрительно улыбаются, но до того уж исподтишка, что никто, даже само искусство, этих их презрительных улыбок не замечает.

Впрочем, на первых порах искусство еще возражает. «Позвольте, господа! — говорит оно мужикам, — я согласно стать на почву реальную (еще бы!), но ведь я все-таки искусство, и потому моими реальными основами могут быть лишь основы общечеловеческие!» И затем начинает доказывать, что «благородные чувства», хотя и не имеют права отрываться от действительности, тем не менее все-таки должны носить характер

общечеловеческий и в этом смысле оставаться до некоторой степени безразличными. Одним словом, что «благородство чувств» все-таки должно быть «благородством чувств» — и ничем более. Но мужики, несмотря на свое невежество, очень сообразительны. Они говорят искусству: «Погоди! хотя ты и правду говоришь, но ты врешь! это правда, что искусство, как и всякая другая истина, должно опираться на общечеловеческие основы. Но ведь эти общечеловеческие основы надобно еще отыскать, а для



ГРАНКИ САТИРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА ШЕДРИНА «НАЯДА И РЫБАК», ПРЕДНАЗНАЧАВ-
ШЕГОСЯ ДЛЯ № 11-12 «СОВРЕМЕННОГО» ЗА 1864 г., НО ИЗЪЯТОГО ЦЕНЗУРОЙ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

того, чтобы их отыскать, нужно, между прочим, принять в счет и нас, мужиков, — потому что только тогда эта основа будет невыдуманная и только тогда ты, искусство, не впадешь в то бесстыдное вранье, которому ты до сего времени предавался!».

Одним словом, мужики ответили искусству точь-в-точь то же самое, что они же в свое время отвечали ловким политико-экономам и администраторам, которые предлагали им готовые, свежееиспеченные экономические и административные теории... pour leur bien*.

А так как мужики все-таки сила, то искусство послушаться их не осмелилось и приступило к «возбуждению благородных чувств» совсем на другой манер, нежели прежде. Оно обуздало себя, временно ограничило свои цели, специализировалось и перестало действовать подобно тем детям-сочинителям, которые преимущественно стремятся к изображению таких впечатлений и чувств, о коих даже приблизительного понятия не имеют. Не теряя из вида основ общечеловеческих (без всякого спора, составляющих конечную его цель), искусство приняло характер национальный, обратило свое исключительное внимание на воспроизведение той особенной жизни, которая ближе всего находится у него под руками.

* для их же блага (франц.).

Один балет благополучно избежал этого общего переворота и не только у нас в России избежал, но и вообще в целом образованном мире. Можно сказать утвердительно, что европейский балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч. В произведениях этих доселе еще привилегированных русских поэтов все-таки замечается некоторое стремление выйти на реальную почву, некоторые попытки пройти хоть по части «благоденствующего» русского мужичка, некоторый стыд, наконец... а в балете даже и стыда нет. И до сих пор он с непостижимым нахальством выступает вперед с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочею нечистою силой. Все это до такой степени противно и нестерпимо, что положение балетного посетителя можно сравнить разве с положением человека, вынужденного читать журнал «Эпоха» и следить за полетом «стрижей». Он видит, что перед ним выделяются всевозможные па, раскрываются таинственные раковины, поднимаются ноги, двигаются цветы, отворяются и затворяются трапзы, он сознает, что все это самое непробудное невежество, самая беспардонная гиль — и остается подавленным — именно громадностью этого невежества и гили. Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представляемой на петербургском Большом театре под названием «Наяда и рыбак»?

Действие происходит неизвестно где; перед глазами зрителей берег моря и толпа поселян и поселянок. И те и другие очень мило одеты, хотя облаженные (обтянутые трико далеко не безукоризненной чистоты) их ноги свидетельствуют, что по временам им должно быть довольно холодно. Поселяне и поселянки пляшут. Зачем пляшут? Пляшут потому, что починаяют сети; пляшут потому, что вытаскивают сети из моря; пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве *должны* плясать... Приходит Джанина, делает несколько курбетов и этим выражает, что ждет жениха, который, наконец, и является. Маттео с своей стороны вертится на одной ножке и этим выражает, что сегодня назначен сговор с Джаниной. Все уходит. Маттео остается один, и вдруг в глубине сцены что-то раздается: это раковина, из которой выходит Ундина. Ундина также делает множество курбетов, которые должны выражать, что она влюблена в Маттео. Нужно сказать правду: Ундина, изображаемая г. Муравьевою, очень мила, и надо удивляться, что Маттео может хотя на минуту колебаться, чтоб не предложить ей руку и сердце. Все возвращаются и опять ни с того ни с сего начинают плясать; к этой пляске присоединяется и Ундина, которая, по выражению балетной программы, «как бы каким-то чудом» появляется между танцующими группами. Потом Ундина бросается в воду, потом (опять как бы каким-то чудом) появляется на вершине скалы. Зрители не понимают, но аплодируют.

Картина переменяется, декорация представляет рыбацью хижину, в которой размахивают руками и ногами: Джанина, Маттео и мать его, Тереза. Джанина делает несколько курбетов, что означает: «Милый! о чем ты задумался?» Маттео тоже делает несколько курбетов, что означает, что ему тошно. Вдруг отворяется окно и в хижину влетает Ундина. Начинаются прыжки и курбеты — Ундина исчезает; Джанина и Маттео становятся на колени.

Картина переменяется. «Молодые, прекрасные наяды, вышед из воды, играют и резвятся на прибрежном песке, подражая телодвижениями плавному течению и струям родной стихии» (так гласит программа). Появляется Гидрола (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!), «легкая и стройная царица наяд». Она машет руками в знак того, что нечто повелевает. Опять прыжки, и опять Ундина. Она становится на носки, переходит на носках всю сцену, и это означает, что она «любит Маттео». Все пляшут. Приходит

Маттео, вертится на одной ножке и, как алебастровый кот, мотает головой — это значит, что он «с упоением прислушивается к песне соловья». Он рвет цветы: сорвет один — отставит ногу и прижмет руку к сердцу, сорвет другой — отставит ногу и прижмет руку к сердцу. Пот льет с него градом, ибо беспрерывно отставлять ногу утомительно; белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины. Вдруг со всех сторон налетают наяды и между ними Ундина, которая во что бы то ни стало хочет отнять у Маттео букет цветов, нарванный им для Джиганины. Происходит танец, который г-жа Муравьева исполняет с надлежащим усердием, а затем является «веселая толпа рыбаков», которая и уводит Маттео.

Картина переменяется. Брачный пир на дворе деревенского трактира. Пляшут... Но здесь действие до такой степени спутывается и перепутывается, что следить за ним нет возможности. То есть, собственно действия даже нет совсем, а есть беспрерывные, бессмысленные появления и исчезновения. Дело кончается тем, что Ундина все-таки увлекает Маттео, который и бросается вслед за нею в озеро. Все пляшут.

Вот содержание балета. Конечно, я рассказал его не во всех подробностях, но смысл передан верно. Скажите на милость: о чем эти картонные куклы печалются, чему они радуются, зачем пляшут, с какого повода приходят и уходят? *Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?** Ни на один из этих вопросов не ответит ни один из самых заматерелых философов, кроме, быть может, г. Юркевича. Почему наяды принимают участие в жизни человека, какого рода это участие, до какой степени это справедливо, почему именно наяды, а не лешачихи? Замечательно, что ни один из зрителей не задает себе подобного вопроса, замечательно, что зала театра всегда полна, замечательно, что ни один из присутствующих не отвернется с омерзением от всей этой галиматии...

Стало быть, эта галиматия нужна, стало быть, она как раз в меру нашего роста. Конечно, мне могут сказать, что в деле привлечения зрителя к подобным зрелищам не последнюю роль играет поднимание ног, обнажение плеч и прочие более и менее возбуждающие балетные ингредиенты. Но в таком случае, будем же откровенны: будемте осквернять наши взоры (если уже для услаждения их необходимо поднимание ног), но зачем же искажать нашу мысль? зачем засорять наше и без того уже засоренное воображение еще новыми сплетнями разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии?

Знаю, что балет, как и философские упражнения г. Юркевича, как и бездонное словоизвержение «Московских ведомостей», есть в некотором роде «средство». Знаю я это, милостивые государи, знаю! Но если уже необходимо в видах отвлечения устремлять человеческое внимание на поднимание ног, то нельзя ли устроить это последнее по поводу, несколько менее бессмысленному, ближе подходящему к нашим существенным интересам?

Я полагаю, что можно, ибо поднимать ноги отнюдь не возбраняется по какому угодно поводу. Проникнутый этой истиной, я счел за надобное подкрепить мою мысль ясным и для всех очевидным доказательством, т. е. сочинил программу балета, которая, по моему мнению, должна удовлетворить всем требованиям. Лыщу себя надеждою, что представители санкт-петербургских театральных искусств не только не посетуют на меня за мой труд, но, напротив того, поспешат воспользоваться им и поставить балет моего сочинения на сцену с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

* Зачем? как? когда? какими средствами? (лат.).

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ

или

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ!

Современно-отечественно-фантастический балет, в 3-х действиях и 4-х картинах. Соч. хроникера «Современника»; музыка соч. г. Серова; машины и полеты гг. Юркевича, Косицы и Ф. М. Достоевского; костюмы того самого портного, который взамен полустной платы одевает сотрудников «Эпохи».

Действующие лица:

Консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова.

Иван Иванович Обиралов }
Иван Иванович Дантист } наперсники и друзья Давилова.

Либерализм, скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова. Пасынок Давилова.

Анна Ивановна Взятка, женщина уже в летах, но вечно-юная; напрасно полагает себя вдовою.

Аннета Потихоньку-Постепенная, молодая женщина; напрасно полагает себя девицей.

Лганье

Вранье

Излишняя любознательность

Чепуха

Эпохино семейство

Мужики. Полицейские солдаты. Внутренняя стража. Стрижи.

} Анакреонтические
фигуры.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый серым сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа мужиков, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Мужики с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «Сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки; мы пойдем в Большой московский трактир, и там славно закусим и выпьем!»

II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Потихоньку-Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательною грацией ударяет пальчиком Давилова по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустной и в то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» — говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница возрождается на столе в прежнем виде. Дави-

лов хочет устремиться за очаровательницей, но вместо того попадает пальцем в чернильницу. — «Пойми!» — повторяет он в раздумьи: что хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратился в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов долго еще не может прийти в себя и, беспрестанно повторяя: «пойми!», устремляется к тому месту, где



ЧИТАТЕЛЬ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» И ЧИТАТЕЛЬ «ЭПОХИ»

Карикатура из серии «Читатели газет и журналов»

Гравюра с рисунка А. Н. Бордгелли

«Искра», 1864, № 44

скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит:

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обладателем. Она почти неодета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот уже прикасается он к ее талии, — как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в кармане Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердца начальников радуются, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист.

V

— «Спасибо, друзья!» — говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вздрезги и на столе опять появляется Аннета Потихоньку-Постепенная. Она, по-прежнему, стоит на одной ножке, но вид ее строг. — «Слушай, — говорит она Давилову, — я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжаешь безобразничать с паскудной Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Ивана Александрыча Хлестакова, или... ты погибнешь». — Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. (*Картина*).

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

К а р т и н а II

Пустынное местоположение. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются стрижи:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!
Забубенные мы, ах, головушки!
А и нет у нас отца с матушкой!
А и есть у нас только детушки!
А и первой-ет сын несмысленочек,
А второй-ет сын да дурашливый,
А и треть-ет сын — хуже первого,
А четвертой сын — хуже третьего,
А и пятой сын — самый жалконький,
Самый жалконький, вовсе гнусенький,
И проч., и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание. — «Я буду лгать умышленно!» — говорит Лганье. — «А я буду врать что попало!» — говорит Вранье. — «И будет хорошо?» — «И будет хорошо». — «А я буду подслушивать», — скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторой завистью смотрят на нее. — «Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня», — еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и этою приветливостью возвращает на лица

собеседник беспечное выражение. — «Не станцовать ли нам что-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг и начальник Иван Александрыч?» — предлагает Вранье. — «Пожалуй, — соглашается Лганье: — но где он так долго пропадает, беденький?» — «Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну», — отвечает Излишняя любознательность.

II

Начинается:

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь, — так танцует она: — я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимавшиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание стрижей. Однако я шла и озиралась: что, думала я, если меня поймают! Что сделают со мной? закатают ли до смерти, или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? Наверху неприступной скалы я увидела чертог, весь залитый светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? Я увидела нашего Ивана Александрыча, который, вместо того, чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Потихоньку-Постепенной!»

III

Протанцовав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Иван Александрыч ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала? зачем подглядывала?» — говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает одну ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» — говорит Лганье и начинает:

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Иваном Александрычем и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей трясины, я не вытерпело и подошло к нему. — „Покровитель! — сказала я: — отчего так грустен твой вид?“ — „Мой верный слуга, — отвечал он мне: — я грущу, потому что оказываюсь неблагодарным. Я достойно наградил всех моих слуг: ни Излишняя любознательность, ни Вранье не могут жаловаться на мою расчетливость... одно ты, бедное Лганье, осталось без награды! Но я надеюсь поправить это. Бог даст, с твоею помощью, успею вконец обогатить любезное отечество, и тогда...“. Он умолк, но я поняло его мысль и не могло не облизнуться!»

V

Протанцовав вышеизложенное, Лганье останавливается в недоумении, ибо догадывается, что лгало своим и о своих же и, следовательно, лгало напрасно. «Зачем я лгало?» — с грустью спрашивает оно себя и в негодовании высоко поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» — вступает, в свою очередь, Вранье и, вслед затем, начинает:

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Ивана Александрыча в самом оригинальном положении:

Он лежал животом кверху на берегу нашей трясины и грелся на солнце. — „Что ты, mon cher, тут делаешь? — спросило я его (ведь вы знаете, я с ним на ты) — и что означает эта оригинальная поза?“ — „Молчи! — отвечал он мне, — я сочиняю либеральные измышления! Ты знаешь, — продолжал он, после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз, — ты знаешь, друг, что я сделался руководителем по части отечественной благонамеренности... и... и...“ — Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: „До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаю ему все ребра!“»

VII

Протанцовав это, Вранье спохватывается, что оно врало своим и о своих же и, следовательно, совершило бесполезный подвиг. В унынии оно высоко поднимает одну ногу.

VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время, каждый с одной поднятой ногой. Все трое телодвижениями выражают:

Зачем я	{	Подслушивала?
		Лгало?
		Врало?

В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами. — «Вы потому совершили столько ненужных подвигов, — говорит она, — потому что с вами была я!» — Начинается:

Большой танец Чепухи

«До тех пор, — танцует она, — покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в семинарии, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это — излишняя любознательность, вот это — постыдное лганье, а это — безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня, — и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясиину; везде я достигну вас и буду руководящим началом всех ваших действий! Вы просите, быть может, зачем я это делаю?...»

IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается:

Танец Четырех поднятых ног,

который прерывается —

от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Как она угодна нашим правам и как мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали — даже пороха! — но выдумали „либерализм“ и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления, — и никто ничего не получает. И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы — есть удел человека в сей юдоли плача!».

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель Стрижей

II

«Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть, что ты благороднейший юноша, хотел я сказать! — говорит Давилов, — и потому вот что я придумал: забудем прошлое и заключим союз!» — «С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен». — «Слушаю тебя с величайшим вниманием». — «Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою (*отрицательное движение со стороны Давилова*)... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, что тебе дорого, не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь, сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый маломудрый человек — и тот понимает под Взяткою что-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: „вот взяточник“, и никто не скажет: „вот либерал!“ До сих пор ты брал взятки и давил... Продолжай и на будущее время! но сделай так, чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым!» — «Стало быть... потихоньку можно?» — робко спрашивает Давилов. — «Потихоньку... можно; (*с жаром*) все потихоньку можно!» — «Однако ж... ты требуешь, чтоб я отказался от моей фамилии... я Давилов, любезный друг! и надеюсь...» — «Не я требую, а система! и ежели она потребует, чтобы ты отказался от материнского чрева, — откажись!» — «Ну-с... второе условие?» — «Второе условие — удали из числа твоих приближенных Чепуху!» — «Эту за что ж?» — «Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марает отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи — никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду; она отравляет... все наши действия... она делает невозможною... систему! Наконец, сознайся ли тебе? Я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой степени от Чепухи!» — «Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из бед?» — «Это нужды нет; отныне, вместо Чепухи, тебя должна спасать Неуклонность...»

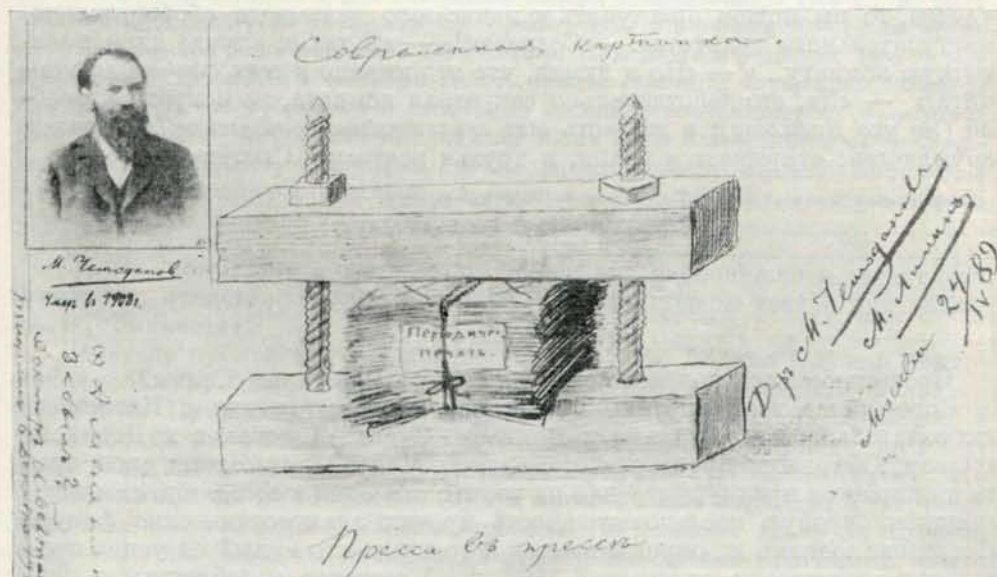
Начинается:

Большой танец Неуклонности,

который отличается тем, что его танцуют, не сгибая ног и держа голову наоборот.



«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СЦЕНКА НА ЛИТЕРАТУРНОМ КЛАДБИЩЕ»
«Хор литераторов и художников-юмористов над могилою своих детищ...»



«СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНКА. ПРЕССА В ПРЕССЕ»
Рисунки М. М. Чегоданова в альбоме О. И. Фельдмана, 1889 г.
На нижнем рисунке (слева) фотографический портрет художника
Центральный архив литературы и искусства, Москва

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время стрижи чистят носы, как бы приговарываясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: «Третье условие — ты должен уметь танцевать „танец честности“».

Начинается:

Большой танец Честности,

во время которого стрижи поют:

Ах, когда же с поля чести

Русский воин удалой...

Но «танец честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно нуждается Хлестаков свои ноги; напрасно стрижи то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соответствие с их покровителем — ничто не помогает. Опечаленный неудачей, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: — Все равно, будем, вместо этого, танцевать

Большой танец Московской благонамеренности,

который и танцует, под свист стрижей, поющих:

По улице мостовой...

IV

«Это всё?» — спрашивает Давилов. — «Покамест всё, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата». — «Согласен!» — «В таком случае идем в секретную комнату...» — «Но я думал, что это именно и есть секретная комната?» — «Да, это действительно секретная комната, но секретная вообще (на ухо Давилову): в ней есть еще *секретнейшее отделение!*» Давилов изумляется; открывается трапп, и друзья исчезают. Стрижи поют:

Тихо всюду! глухо всюду!

Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

К а р т и н а IV

Прелестное местоположение; в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи: Хлестаков и Давилов; ассессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется; но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху учинить от следствия и суда свободною и допустить, по-прежнему, в число анакреонтических фигур». В народе раздаются крики восторженной радости. Стрижи хлопают крыльями. Сами судьи взволнованы. Затем происходит:

Шествие в храм Славы

Дошедши до порога храма, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную

фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны, Взятка и Потихоньку-Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают тройную фамилию Взятки-Потихоньку-Постепенной. Начинается:

Анофеоз

Хлестаков-Давилов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, полицейские, солдаты и преобразованная внутренняя стража. Перед Хлестаковым-Давиловым, на коленях, Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит герб Хлестаковых-Давиловых:

Римский огурец

Вдали, в костюме слесарши Пошлепкиной, просит прощения аллегорическая фигура «Эпохино Семейство», окруженная стрижками.

Занавес падает,

а с ним вместе естественно прекращается и мой отчет о петербургском балете.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

НЕИЗДАННЫЙ ФРАГМЕНТ ИЗ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ ФИАМЕТТА. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ И ЧЕТЫРЕХ КАРТИНАХ. СОЧ. г. СЕН-ЛЕОНА; МУЗЫКА г. МИНКУСА»

Статья предназначалась для январского номера «Современника» 1866 г., но была изъята оттуда цензурой. Начальные две фразы статьи в редакции 1866 г. совпадают с опубликованной выше редакцией 1864 г. (стр. 388). Далее в редакции 1864 г. следовал текст, опущенный в редакции 1866 г.: от слов «Значение и характер „благородных чувств“ странным образом изменились» до «... ближе всего находится у него под руками» (стр. 388—389). После того, от слов «Один балет благополучно избежал этого общего переворота...» до фразы, начинающейся словами «Судите, например...» текст в обеих редакциях совпадает. А затем в редакции 1866 г. следовал впервые публикуемый здесь текст:

Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представленной на петербургском большом театре под названием «Фиаметта».

Действие происходит в «царстве бога любви». Богини Олимпа поклоняются Амуру, выражая это поклонение преимущественно подниманием ног. Пляшут. Является Меркурий, делает несколько курбетов и усиленно машет руками; богини в негодовании, и поднимают ноги еще выше; сам Амур раздражен курбетами Меркурия (вероятно потому, что он выдвигает их не совсем чисто) и в порыве гнева подходит к жертвеннику, на котором горит «пламень любви». По данному знаку из пламени вылетает г-жа Лебедева, которой, как говорит балетная программа, «Амур даровал все прелести земной красавицы», в чем мы совершенно согласны, ибо грациозней г-жи Лебедевой быть невозможно. Старички, сидящие в 1-м ряду кресел, следят с почти нечеловеческим вниманием за каждым движением этой прелестной балерины и, если бы не подагра, то наверное улетели бы вслед за нею, в ту минуту, когда она исчезает вместе с Амуром.

Я совершенно понимаю порывы старичков. Г-жа Лебедева очаровательна и не лететь за ней невозможно. Но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что старички сии, судя по совершенным их летам, занимают, по малой мере, места особ на заставах команду имеющих и 2) что с отлетом их остался бы неразрешенным вопрос о разных по части застав

усовершенствованных реформах,— не могу в то же время не удивляться благотворительности начальства, которое, вместе с страстными порывами, наделило старичков и подагрой.

Во второй картине оказывается, что вся суматоха предыдущего акта была из-за некоего графа Штернгольда. По мнению Меркурия, этого известного ходока по части любовных дел (на чужой, впрочем, счет), Штернгольд непростительно виноват. Он не признает законов любви, и даже на доме своем сделал надпись «храм закрытый для любви», но за всем тем намерен жениться на княгине Мильфлёр (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!). Это-то ужасное поведение возмутило небожительниц и заставило Амура создать Фиаметту,— с целью доказать бунтовщику, что законы любви обязательны не только для него, Штернгольда, но и для упомянутых выше «старичков»... С открытием занавеси Штернгольд с друзьями предаются разгулу. Является Амур в одежде охотника и, сделав несколько антраша, приводит Фиаметту. Прибегают поселяне, пляшут и окончательно поселяют в «старичках» убеждение, что положение поселян в балетах самое счастливое. Штернгольд между тем замечает Фиаметту и требует, чтоб она была его любовницей. Начинается танец «chanson à boire» г-жи Лебедевой.

Я взглянул на «старичков», и опять удивился предусмотрительности начальства. Но, с другой стороны, имея в виду: 1) что в усовершенствованиях по части застав настоящей надобности не предвидится, и 2) что за сим к отлету «старичков» вслед за г-жей Лебедевой никаких серьезных препятствий не имеется — не могу не заявить, что даже самой мудрой предусмотрительности имеются естественные пределы, преступать которые не надлежит.

Картина переменяется. Замок княгини Мильфлёр. Уходят, приходят, толкаются, пляшут и, наконец, ложатся спать. Являются привидения: Фиаметта в объятиях Амура, княгиня Мильфлёр — в объятиях некоего офицера Отто. Отто мотает головой, как алебастровый кот, и вообще состояние души своей выражает самыми разнообразными движениями, а именно: сперва отставит одну ногу, а руку прижмет к сердцу, потом отставит другую ногу, и руку прижмет к сердцу и т. п. Наконец, спектры исчезают, декорация переменяется и начинается чистейшая галиматья. Является нотариус <!>, который оказывается нотариусом <!>, и в заключение г-жа Лебедева превращается в пламень и улетает к небу.

Я вновь взглянул на старичков с намерением вновь удивиться, но, сообразив обстоятельства сего дела и найдя: 1) что распределение человеческих намерений ни в каком случае от усмотрения начальства зависеть не может и 2) что за сим всякое суждение об этом предмете не уместно, или, по малой мере, преждевременно,— определил: не давая ни ближайшего, ни дальнейшего развития размышлениям моим о старичках-подагриках, оные прекратить, предоставив, впрочем, участи сих лиц милосердию г-жи Лебедевой.

Вот содержание балета...

Далее в редакции 1866 г. приводится то же «либретто» балета «Мнимые враги», что и в редакции 1864 г. (стр. 392—401), с тем, однако, различием, что из текста изъяты все полемические упоминания имени Достоевского и журнала «Эпоха».

ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101. Корректирные гранки.